



Лейви Шер

Память просыпается во сне¹

Не знаю, это свойство возраста или индивидуальная особенность, но по ночам моя память начинает просыпаться. И, как в песне, вспоминается все, что было «не со мной». Перед глазами проносится калейдоскоп людей и событий, причем в странной, хаотической, на первый взгляд, последовательности, но связанной какой-то неуловимой логикой. Передо мной бабушка, какой она была лет в семьдесят пять – лучащаяся своей доброй улыбкой, хлопчущая на маленькой кухне в мустамяэской хрущобе и рассказывающая о своем детстве.

А детство ее проходило в славном городе Пскове. Мой прадед Исаак Финберг был портным. Судя по всему, дела его шли не плохо, потому что ко времени взросления бабушки он уже имел магазин готового платья. Прабабка умерла молодой – в сорок семь лет от туберкулеза, бабушке было тогда всего 16 лет. Прадед был человек религиозный, регулярно ходил в синагогу, свято блюл субботу. Но жизнь в исконной русской провинции не могла не наложить свой отпечаток даже на благоверного еврея. Прадед обожал самовар и, по рассказам бабушки, выпивал в субботу после обеда, как извозчик, по шесть-семь стаканов чаю с горячими баранками.

Детей, а я достоверно знаю о двух братьях Борисе и Якове и трех сестрах – Фене, Гене и Розе, он отдал в Псковскую Мариинскую гимназию (Мариинскими назывались гимназии, находившиеся под покровительством царицы-матери Марии Федоровны). Геня – а это и была моя бабушка, училась старательно, но осторожно. В русской гимназии для еврейской ученицы таились немалые опасности. Бабушка, которая религиозности своего отца не унаследовала и блюла только один религиозный обычай – Йом – кипур - пост накануне Нового Года, который у евреев обычно бывает в сентябре, со смехом вспоминала, как бегала от гимназического священника, который кропил классы святой водой, чтобы не дай Бог, гойская святыня не попала на нее – отец этого бы не простил, да и как потом избавиться от эдакой напасти – такое осквернение в бане не смоешь.

¹ Публикуется с сокращениями, которые обозначены многоточием (.....).

Второе любимое воспоминание ее детства – приезд во Псков императора Николая Второго. Поглазеть на него высыпал весь город. Прадед не стал исключением, более того, он взял с собой детей. Когда показалась кавалькада – царь ехал верхом в окружении казачьего конвоя, все внимание, конечно же, сконцентрировалось на нем. Когда прадед очнулся, он увидел, что маленькая Геня вылезла прямо на дорогу и оказалась под брюхом лошади одного из конвойных казаков. Не знаю, испугался ли Исаак Финберг, но бабушка с восторгом вспоминала, какое мохнатое рыжее брюхо было у той лошади.

В шестнадцать лет, стало быть, в 1904 году, бабушка осиротела. Старшая сестра Феня (она была старше на три года) к тому времени вышла замуж за нарвитянина Леву Хайта - ювелира и часовщика. Домашние дела и заботы легли на бабушку. Включая заботы о младшей сестре Розе.

Нет худа без добра. Бабушка стала настоящей хозяйкой. На ее кулинарию многие годы спустя напрашивались все знакомые, включая моих друзей. Какие она делала пирожки, тейглах – вареные в меду плетеные колобки, лекэх – кекс на остатках меда или патоки от тейглах. Я уже не говорю о фаршированной рыбе, цимесе ... Не могу продолжать - слюнки текут.

Но самое замечательное заключалось в том, какое удовольствие бабушка получала от того, что могла доставить удовольствие другим. В этом не было самолюбования. Это просто был человек исключительной доброты, сумевший сохранить ее до последних дней – она умерла в девяносто четыре года -, несмотря на очень и очень трудную жизнь. К сожалению, на ее долю выпало больше плохого, чем хорошего.

Но это было потом. Впрочем, хронологические перескоки во сне – явление нормальное.

Своего деда Бориса (полагаю, Боруха) Дымщица я не знал. Бабушка с ним разошлась после возвращения с Кавказа, куда они уехали от первой мировой войны. Дед работал в Баку на нефтяных приисках бухгалтером. Там и родились у них две дочери – 22 января 1915 года – Дина, а 28 августа 1916 – моя мама Бронислава. Ее местом рождения значились Ессентуки, поскольку на жаркий август в этом курортном городке сняли дачу, и роды произошли там. Дед был родом из Риги. Бабушка же ко времени их знакомства уже жила в Ревеле, куда переехала после замужества младшая из ее сестер Роза. Как я понимаю, ко времени возвращения в Прибалтику в 1921 году, мотивом к чему послужило установление советской власти в Азербайджане, дед вернулся сразу в Ригу, а бабушка – в Таллин. Некоторое время у него в Риге жила старшая дочка Дина, а младшая оставалась с матерью и лишь изредка навещала отца, у которого появилась новая семья.

То обстоятельство, что возвращение в Эстонию состоялось не в 1920 году, а лишь год спустя, во многом определило дальнейшую жизнь самых близких мне людей. Все, кто жил в Эстонии на момент обретения ею независимости, что фактически произошло после подписания 2 февраля 1920 года Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонской Республикой, получали по этому договору гражданство нового государства (в отличие от того, что произойдет семь с небольшим десятилетий спустя). Не могу не сказать, что по этому же договору в обмен на признание независимого Эстонского государства и 15 миллионов рублей золотом эта Эстонская Республика обязалась провести оптацию. Что означало взаимное возвращение граждан другой стороны в страну происхождения. Под действие этого пункта подпали остатки белоэмиграции и армии Юденича, выданные эстонскими властями Советской России на верную гибель. Такова была благодарность этого государства за ту роль, которую эта армия сыграла в обретении Эстонией независимости. А ведь именно она составляли костяк вооруженных отрядов, отбивших наступление ландесвера – ополчения прибалтийских немцев, шедших на Эстонию из Латвии. Именно тогда национальным героем Эстонии стал командир бронепоезда лейтенант Куперьянов. Успех эстонских войск обеспечил и независимость Латвии. Эти же войска вместе с финскими добровольцами отбили и массированное наступление красных, дошедших уже до Раквере, т.е. занявших добрую половину Эстонии. Благодарность спасенных спасителям была просто безмерной, ибо у мук и смерти меры нет.

Но пора вернуться к делам семейным. Бабушка вернулась годом позже и гражданства не получила. Почти до самого 1940 года она жила по так называемому нансеновскому паспорту, т.е., выражаясь современным языком, была лицом без гражданства, апатридом. Соответственно она не могла работать на государственной службе, ее не брали на работу и эстонские предприниматели. Многие годы она зарабатывала на жизнь себе и двумя дочерям тем, что держала буфет в Таллиннском еврейском клубе, находившемся на чердаке над знаменитым кафе Фейшнера – это здание и сейчас, к сожалению, до неузнаваемости перестроенное, стоит на площади Свободы между лестницей, спускающейся с Вышгорода и улицей Ратаскаэву. Там были недавно ирландский паб и норвежское посольство. Летом, когда клубная жизнь замирала, бабушка снимала домик в Пярну и держала там пансион для детей из обеспеченных семей, чьи родители хотели во время отпуска отдохнуть от своих чад. Благодаря кулинарному искусству бабушки пансион пользовался популярностью. Домик, где он располагался, находился рядом с другим, гораздо большим, в саду которого прогуливался солидный джентльмен. Это был президент Эстонии Константин Пятс. Никакой охраны у его дачи не было, и никто не гонял с забора детей, глазевших на главу государства.

В отличие от бабушки, ее сестры, выйдя замуж за вполне обеспеченных людей (старшая – за ювелира и часовщика, младшая – за представителя шведской обувной фирмы Самуила Слуцкого), таких забот не знали. Роза, как могла, помогала нуждавшейся сестре. Мама зачастую подолгу жила у тетки и до последних дней сохранила искреннюю привязанность к своей двоюродной сестре - тоже Дине, которую, чтобы не путать, называли почему-то Нусей. И это несмотря на то, что Нуся была на пять лет моложе, а в том возрасте это огромная разница. Зато не приходится говорить о такой стабильности отношений со старшим братом Нуси – Адей, который в советские времена стал большим начальником и не очень любил вспоминать о наличии еврейских родственников. Но об этом позже.

Несмотря на все трудности, бабушка дала дочерям приличное по тому времени образование – они закончили Таллинскую еврейскую гимназию. Именно там мама познакомилась с моим папой.

Об отце я знаю очень не много. По одним документам Абрам, по другим Абель Шер родился в 1915 году в городе Двинске (ныне Даугавпилсе). Ко времени знакомства с моей мамой он был третьим ребенком в семье владельца мясной лавки Лейба (Лейви) Шера и его жены Таубе. В честь деда я и был назван по желанию папы, выраженному в его последнем дошедшем до мамы в августе 1941 года письме. Об этом деде я знаю только то, что в 1938 году он проиграл в карты и свой дом на углу улиц Теразе и Рауа, и мясную лавку. Благодаря этому семья не попала под критерии депортации 1941 года, когда из Эстонии выселяли в Сибирь буржуев, отнюдь не только эстонцев по национальности, офицеров, большую часть интеллигенции. Кстати, нет худа без добра – многим таллинским евреям, в том числе и моим родственникам, высылка сохранила жизнь, ибо то неприятие, если не сказать ненависть, которую вызвала по отношению к себе советская власть всего за один год существования в Эстонии, привела не только к активному сотрудничеству населения с гитлеровцами, но и к тому, что значительная часть местных евреев предпочла эвакуации немецкую оккупацию. Чем это закончилось – известно: в декабре 1941 года Эстония первой из оккупированных Гитлером стран доложила обожаемому фюреру, что она – *Juden frei* (свободна от евреев). Около тысячи их были расстреляны во дворе Батарейной тюрьмы в Таллине – и отнюдь не немецкими гестаповцами.

... В маму папа влюбился еще будучи гимназистом. Мама вспоминала, как летом он прибежал утром под окна бабушкиного пансиона с букетом цветов, сорванных с одной из городских клумб. Летом 1940 года состоялась помолвка молоденькой продавщицы небольшого магазинчика, принадлежавшего двоюродному брату бабушки Эльхонону Генделю – дяде Хоне и Абея Шера. К их свадьбе уже не было магазина, в далеких Кировских лагерях находился дядя Хона. В ссылке оказалась его жена

Мария Григорьевна – тетя Маша с маленьким приемным сыном Адиром. Они соединились лишь через многие годы в Воркуте, назначенной дяде Хоне местом жительства после окончания срока. Там он и умер, только однажды успев побывать в Таллине уже совсем стариком. В тот приезд я и познакомился с ним. Тетя Маша после его смерти вернулась в Таллин и сыграла в моей жизни довольно важную роль.

Насколько я могу судить по очень скупым рассказам мамы (она не любила говорить о своих отношениях с семьей папы), а больше по тому, что рассказывали ее гимназические подруги, папа был в своей семье белой вороной. Дед, судя по этим рассказам, был человек из категории самодуров, да и у бабки характер был не сахар. Папины старший брат и старшая сестра во многом унаследовали далеко не лучшие черты своих родителей. Поскольку я не очень хочу возвращаться к этим персонам впоследствии, то завершу эту тему безотлагательно.

Где и как умер дед, я не знаю – это произошло до моего рождения. Бабушку помню – она жила со своей дочерью и внучкой в Таллине. Дочь очень любила работать в торговле, а потому периодически оказывалась за решеткой. Второй ее страстью были мужчины, желательно обеспеченные или полезные. Например, конвоир в тюрьме. Забеременев от него, она сумела досрочно освободиться. Лишнихдетей сдавала в детдом. Один из них в возрасте 12 лет умер. О встрече со своим другим двоюродным братом я еще расскажу. Когда во время войны в эвакуации в прикамском Чистополе маме нечем было накормить меня годовалого, она понесла последние оставшиеся с мирных времен вещи в комиссионку. Заведующая приняла их за бесценок. А потом выставила на продажу по цене в несколько раз выше. Заведующей была сестра моего к тому времени уже погибшего отца.

В 1940 году папа, насколько можно судить, увлекся новой ситуацией. Он пошел работать в милицию. Именно в милицию, уголовную. Ненадолго. Одним из первых его заданий стал арест собственного брата, успевшего совершить какую-то торговую аферу. Папа отказался и вынужден был уйти из милиции. Через некоторое время он устроился на какую-то не известную мне должность в министерстве связи. Во всяком случае, эта должность давала ему право на бронь, когда началась война. Папа ею не воспользовался – он пошел в армию добровольцем. Много лет спустя начальник 1 отдела Министерства сельского хозяйства Эстонской ССР полковник в отставке Борис Михайлович Кремнев, изучая мои документы при приеме на работу старшим инспектором, потребовал от меня уточнить, в какую армию папа пошел добровольцем. Я в ответ попросил его внимательно прочитать пресловутый пятый пункт моей анкеты – национальность. Он не понял. Похоже, он мало что знал, о геноциде евреев

нацистами, если мог предположить, что Абель Шер мог оказаться в немецкой армии.

Вид на Чистополь и обратно

О социалистических революциях в Эстонии, Латвии и Литве написано немало томов – и в советское время и уже после него. Правды нет ни в одном из этих писаний. Можно только предположить, в недрах какого отдела ЦК ВКП(б) писался их сценарий – общий для всех трех стран. Но в основу его был положен секретный протокол к печально известному пакту о ненападении между СССР и гитлеровской Германией, который чаще называют пактом Молотова - Риббентропа. По этому пакту Балтийские государства, Финляндия, половина Польши и часть Румынии отходили в «сферу влияния» СССР. 23 августа 1939 года стало роковой датой не только для судьбы этих стран, но и всего мира. История не знает сослагательного наклонения, но все же... Можно сколько угодно говорить, что СССР не был готов в тот момент к войне, что нужно было оттянуть начало ее любой ценой. Не будь этого пакта Гитлер не решился бы напасть на Польшу, что означало автоматическое вступление в войну Англии и Франции, имея за спиной ненавидевшего его как конкурента № 1 в параноидальной борьбе за мировое господство Иосифа Сталина. В развязывании этой войны, честно говоря, все стороны были хороши почти одинаково. Мюнхенские соглашения по своей сути ничуть не уступали пакту Молотова – Риббентропа. Все рассчитывали, что смогут чужими руками таскать каштаны из огня. Запад надеялся, что Гитлер начнет с Востока. Сталин готовил колоссальную военную машину для удара в тыл увязнувшему в борьбе с Западом Гитлеру. Гитлер надеялся, обеспечив тыловое прикрытие с Востока, разгромить сначала Запад, а потом и Восток. Балтийские государства оказались мелкой разменной монетой в коварной игре дерущихся между собой титанов.

Отсутствие сослагательного наклонения вынуждает констатировать, что через неделю после заключения пакта о ненападении с СССР гитлеровцы вторглись в Польшу и началась вторая мировая война. А еще через некоторое время через границу Эстонии перешли части Красной Армии, чтобы расположиться на оговоренных соглашением, подписанным законными властями Эстонской Республики, военных базах.

Судя по маминым и бабушкиным рассказам, большинство населения встречало эти части отнюдь не враждебно. На то были свои причины. Во-первых, все понимали, что выбор у Эстонии был только между Советским Союзом и Третьим Рейхом. У эстонцев не было причин доброжелательно относиться к немцам, ведь семь веков прошли под знаком немецкого владычества на эстонской земле. И присоединение в начале XVIII века к Российской империи в этом отношении ничего не изменило – Россия

сохранила землевладение остзейских баронов, а эстонцы как были для них быдлом, рабочим скотом, так и остались. Только сто с лишним лет спустя, когда неэффективность крепостного труда стала ясна немецким латифундистам, сравнивавшим свои дела с успехами Хаймата (исторической родины), Прибалтийские губернии первыми в России избавились от крепостного права. И это сыграло огромную роль в их развитии. Не то, чтобы положение массы эстонцев каким-либо радикальным образом изменилось к лучшему. Но исчезло право первой ночи, которым бароны пользовались с огромным удовольствием и весьма часто. Получила развитие сеть начальных школ, а с ними и грамотность. Начала формироваться к середине века эстонская интеллигенция. Она не была еще совсем эстонской. Во-первых, выбивавшиеся из грязи в князи тут же переделывали свои фамилии на немецкий лад, поскольку быть эстонцем было еще мове тон. Так основоположник эстонской литературы носил фамилию Крейцберг (что в переводе с немецкого означает Крестовая гора). В одном из старейших в России Дерптском университете обучение велось исключительно на немецком языке. Очень многие представители нарождающейся интеллигенции получали образование в Петербурге, в том числе в консерватории и Академии художеств. Именно с этой небольшой группы интеллигенции начинается первая волна национального возрождения. Ликвидация крепостного права открыла безземельным крестьянам путь в город. Отношение к немцам в конце XIX века лучше всего отражено в замечательной трилогии эстонского писателя Оскара Лутса «Весна», «Лето» и «Свадьба Тоотса». В 20-е годы прошлого века Эстонское государство выкупило у немецких баронов их мызы. Часть земель была роздана участникам Освободительной войны 1918-1920 годов, часть пошла под государственные мызы – фактически, прообразы советских опорно-показательных совхозов.

В общем, немцев эстонцам любить было не за что. В тридцатые годы в число запрещенных экстремистских организаций власти включили и вапсов – полуфашистскую прогитлеровскую политическую партию.

На все это накладывалась крайняя скудость информации о советской действительности. События тридцатых годов в СССР прошли мимо эстонского обывателя. Общение людей между двумя странами было практически сведено к нулю. Советской действительности эстонцы не знали, а коммунистические лозунги не могли не привлекать своим благородным звучанием. С другой стороны, советские войска - это была все-таки защита от возвращения немцев, которые могли и землю обратно отобрать.

Войска эти, на первых порах, вели себя очень тихо. Выросшие, как грибы, военные базы, были окружены непроницаемыми заборами. Правда, в городских магазинах появились новые покупатели – офицерские жены.

Мама после окончания Таллиннской еврейской гимназии устроилась на работу продавщицей в магазин своего двоюродного дяди Хоны, о котором я уже упоминал. Она рассказывала, что новые покупатели вызывали порой изумление продавщиц, которое, однако, по правилам, они обязаны были ни в коем случае не проявлять. Например, массовым спросом у этой категории покупательниц пользовались шелковые ночные рубашки, принятые ими за бальные платья.

Трудно винить в этом недавних девушек из российской глубинки, вышедших замуж за таких же крестьянских парней, ставших начальниками за полтора-два года в результате сталинской чистки армейских кадров. Им задворки Европы, какой была маленькая Эстония – картофельная республика, поставлявшая на европейский рынок в те годы в основном масло, бекон и картофель, представлялись ошеломляющим краем благоденствия после нищей жизни в Стране Советов, где приобретение и ситцевой ночной сорочки становилось событием.

Советские войска в Эстонии не реагировали даже на то, что во время т.н. зимней кампании 1939-1940 годов, то есть во время попытки завоевания СССР Финляндии, из Эстонии через залив перебирались добровольцы, воевавшие на стороне финнов. Собственно говоря, эта бесславная для СССР агрессивная кампания стала первым звонком для изменения отношения эстонцев к Советскому Союзу. А СССР наращивал свое военное присутствие в Эстонии. В конце 90-х годов мы с первым секретарем российского посольства в Эстонии Сергеем Безбережьевым поехали на Хийумаа – он очень хотел побывать на эстонских островах. И там совершенно случайно, в поисках грибов, наткнулись на бывшие советские береговые батареи, сооруженные в 1939 году. Это был целый город под землей, причем довольно хорошо сохранившийся, с метровыми бетонными стенами и сводами. Я впервые увидел на выступавших из земли орудийных башнях, что такое трехсотмиллиметровая сталь. И ведь все это надо было завезти на остров. И во что это обходилось? Понятно, что этому государству было не до ночных рубашек.

Но и дополнительные войска вошли в Эстонию по соглашению, подписанному официальными и совершенно легитимными эстонскими властями. Под жесточайшим дипломатическим нажимом и в совершенно безвыходной ситуации, что правда. Но то, что они входили в Эстонию как оккупационные, как трубят об этом сейчас не только наши ярые националисты, но и представители официальных властей, неправда. С точки зрения международного права, оккупации Эстонии Советским Союзом никогда не было. В результате «социалистической революции», дирижером которой в Эстонии был незабвенный и не к ночи будь помянутый Андрей Жданов, произошла инкорпорация Эстонии, короче говоря, советский кот заглотил маленькую эстонскую мышь, ничуть при

этом не подавившись. Но символично и то, что мышь сама допустила юридически добровольный, ненасильственный захват, поскольку не сделала ни одного сопротивляющегося движения.

А вот потом началась вакханалия советского режима. Жесточайшие репрессивные меры обрушились на недавно еще относительно благополучную страну. Венцом их стала массовая депортация лета 1941 года. Для маленькой страны с населением около миллиона человек десятков тысяч – это огромное число. Депортация затронула почти каждую семью – кто-нибудь из родственников да пострадал. В первую очередь жертвами стали владельцы хоть какой-либо собственности, офицеры, дипломаты, государственные деятели, не были обойдены вниманием депортировавших и зажиточные крестьяне. А если учесть, что в Эстонии была хуторская система, а потому большая часть крестьянства имела землю и скот, то под категорию кулака по советским меркам попадали как минимум двое из трех крестьян. Переход на советский рубль практически полностью обвалил экономику Эстонии.

Не могу не отметить одну важную деталь: нынешние националисты подают эту депортацию и депортацию 1949 года как геноцид против эстонцев. Это очередная ложь. Среди депортированных в 1941 году были многие сотни русских, более четырехсот евреев, еще оставшиеся в Эстонии немцы. Нет, в данном случае Сталин руководствовался не национальным, а классовым подходом. Эстония должна была стать равной и в идеологическом, и в материальном отношении частью Советского Союза. Понимая, что сравнение с советской действительностью отнюдь не расположит еще не успевшие оболваниться от советской пропаганды народы Прибалтики к единственному в мире государству трудящихся, он совершенно логично для него не доверял им, как не доверял западным украинцам, западным белорусам и полякам. Мне кажется, что наступление Эстонского стрелкового корпуса под кинжальным огнем противника под Великим Луками в 1942 году, после того, как тысячи парней из Эстонии были загублены голодом, холодом и болезнями в Трудармии - рабочих лагерях близ Урала, откуда они и попали в формирующиеся полки корпуса, наступление, приведшее почти что к уничтожению корпуса, было очередным актом истребления не заслуживающих доверия. Племянник моего отчима Алекс Левартовский рассказывал, как они шли тогда в атаку. Огонь со стороны превращенных в крепость Великих Лук был такой плотности, что величайшим счастьем в жизни он считал попавшуюся ему тогда на пути воронку от артиллерийского снаряда. С ним вместе в воронку свалился еще один боец из его роты. Когда атака захлебнулась и части корпуса вернулись на исходные позиции, из его роты в живых были только они двое.

Все это – не изыскания историка или специалиста-обществоведа. Это то, к чему я пришел, оценивая известные мне факты через много лет после того, как они произошли. Но ничем, кроме вышесказанного, я не могу объяснить, почему ненавидевшие немцев эстонцы во время войны оказались в большинстве своем на их стороне. Почему зверствовали эстонские полицейские батальоны на Псковщине и в Белоруссии, почему эстонские части 20-й дивизии СС насмерть стояли против советских войск летом и осенью 1944-го на высотах Синимяэ, почему массово бежали в Швецию осенью того же 1944-го – и отнюдь не только те, как нам вдалбливали, кто сотрудничал с гитлеровцами. Я встречался позднее в Швеции, Германии и Канаде с сотнями эстонских эмигрантов. Подавляющее большинство из них никогда не воевало и не служило марионеточному правительству Эстонии времен нацистской оккупации. Зато в Эстонии я был на процессе секретаря одной из первичных организаций КПСС, который прокололся на том, что по пьяни расхвастался, как он лопатой разрубал головы детям в одной из псковских деревень. Ничем, кроме этого, не объяснить послевоенное массовое движение «лесных братьев» и поддержку их эстонскими крестьянами.

Я не оправдываю тех, кто совершил преступления. Мне - еврею, сыну солдата, погибшего от немецкого снаряда за три месяца до моего рождения, трудно приписать сочувствие к нацистскому режиму и его зверствам, я пытаюсь понять трагедию народа Эстонии, среди которого я живу и к которому (народу, а не этнической нации) себя отношу. Пытаюсь понять корни расцветшего сейчас здесь ультранационализма, потому что, не поняв этого, бороться с ним бессмысленно. Пытаюсь понять, почему эстонцы, относящие себя к цивилизованным европейским нациям, создали в конце XX века не демократическое, а этнократическое государство, почему отсекали от демоса, что по-гречески означает народ, треть населения страны, большая часть которого на референдуме поддержала восстановление независимости, почему с упорством, достойным лучшего применения, отвергает его право на равных участвовать в жизни государства, никак не хочет, чтобы Эстония стала и их государством. Льщу себя уверенностью, что мне, еврею, выросшему на русской культуре, с малолетства живущему не только в Эстонии, но и среди эстонцев, много лет проработавшему с ними бок о бок, знакомому с эстонской культурой и историей не только понаслышке, не только из книг, человеку, которому довелось участвовать в переломных событиях истории моей страны, легче будет взглянуть на все более или менее беспристрастно.

... Меньше чем через месяц после начала войны гитлеровские войска оказались на подходе к Таллину. Началась эвакуация. Остающийся в Таллине папа пришел проводить беременную мной маму и бабушку. Он пошел добровольцем в Красную Армию. Он все понимал, бедный папа. В единственном письме, которое мама получила от него, он писал, что скорее

всего никогда не увидит своего сына. Я не знаю, выстрелила хоть раз его винтовка. Он погиб в августе 1941, когда советские войска морем эвакуировались в Ленинград. Судно, на котором они вышли в море, попало под бомбежку и артиллерийский обстрел с берега, уже занятого нацистами. По слухам, он был тяжело ранен и сам бросился в море, чтобы не попасть живым к немцам - он уже знал, что они делают с евреями.

Между прочим, далеко не все евреи уехали из Таллина. Прочувствовав ужасы советского режима, они заявляли, что не верят рассказам про зверства нацистов. «Немцы – культурная нация, они не могут так поступать!» - рассуждали они. – «Это советская пропаганда!» Что это не советская пропаганда, они поняли через несколько месяцев во дворе Батарейной тюрьмы, густо залитом их кровью. Конечно, кто успел понять, до того, как пуля оборвала способность что-либо понимать.

Наш путь лежал в Казань, а оттуда дальше - в ничем тогда не примечательный город Чистополь.

Мои личные воспоминания о Чистополе более чем скудны. Из маминых и бабушкиных рассказов знаю, что в начале ноября, когда я родился, мороз здесь был за 50 градусов. Зима 1941-го вообще была очень суровой. Проблема была, как и чем меня кормить? На паек иждивенца прожить было невозможно. Мама, начавшая было перед войной карьеру журналиста в газете «Советская Эстония», оставив меня на попечение бабушки, пошла работать на эвакуированный в Чистополь Второй московский часовой завод. Впрочем, делал он не часы, а часовые взрыватели для мин. Сначала ее отправили в отдел снабжения и поручили инвентаризацию имевшегося на складах металла. Его сортамент насчитывал сотни видов, профилей и еще Бог знает чего. Для мамы это было сродни иероглифам. И как можно на глаз определить, какое именно количество металла лежит перед ней, она понять не могла. Но зато скоро поняла, что кладовщики могут вешать ей на уши какую угодно лапшу, а отвечать будет потом она. И попросилась в цех. Ее поставили на сборку взрывателей.

Нас, то есть маму, бабушку, моего трехлетнего двоюродного брата Женю, а потом и меня, разместили в доме на Красноармейской улице. У хозяйки была дочь, тоже с грудным младенцем на руках. Но у нее было и еще кое-что, спасшее нас с Витькой – внуком хозяйки жизнь – корова. Хозяйка согласилась давать нам по пол-литра молока в день. Это молоко с хлебом и стало моей основной пищей, после того, как мама пошла работать. Женин папа – математик Яков Габович уехал вскоре учительствовать в деревню. Человек он был, по мнению мамы и бабушки, со странностями. Так, он категорически отказывался брать с собой в эвакуацию личные вещи и в основном его чемоданы были нагружены математическими книгами. Правда, и у нас личных вещей оказалось немного – большую часть

чемоданов в Казани при пересадке украли. Мать Жени, моя тетя Дина, приехала позже, когда ее демобилизовали.

Женя в четыре года уже проявил лингвистические способности, полностью реализовавшиеся у него – профессионального ученого-математика гораздо позже. Но тогда он задал бабушке сакраментальный вопрос: «Почему этот город называется Чистополь, если он такой грязный?» Грязь в Чистополе военных времен отпечаталась в памяти даже у меня, прожившего в нем до неполных трех лет. Мы с Витькой, воспользовавшись прорытым собакой под воротами лазом, выбирались на улицу, посреди которой была огромная лужа. И в этой луже, блаженно хрюкая, валяжно возлежали огромные, как нам тогда казалось, свиньи. Из этого я логически делаю заключение, что Чистополь не был городом с татарским населением, для которого свинья – кощунство. Тем не менее, на моем свидетельстве о рождении, или, как тогда говорили, метрике значится «Туу турында танынклык», что как раз и означает «Свидетельство о рождении», а в первом эстонском паспорте, который был мне выдан в 1992 году, страной рождения был обозначен Татарстан.

Чистополь был местом эвакуации не только «эстонцев». Сюда же, когда немцы подошли к Москве, вывезли значительную часть Союза писателей и Союза композиторов. Здесь обосновался Исаак Дунаевский, многие известные литераторы. Но они жили своим мирком, и единственным местом контакта были огороды – эвакуированным дали участки земли, на которых эти люди, знавшие о навозе только как о метафоре, стали выращивать картофель. Это было единственной возможностью выжить, ведь буханка хлеба на рынке стоила двухнедельной маминой зарплаты на заводе. Естественно, на зарплату только выкупалось то, что давали по карточкам. Однажды мама взяла меня, двухлетнего, в заводскую столовую и отдала мне свою порцию. Я умял ее в один момент и потянулся к тарелке сидевшего за тем же столом рабочего. И это отнюдь не свидетельство не моего ненормального аппетита, а размера тех порций, которые получали рабочие военного номерного завода. Голод вынуждал продавать те немногие вещи, которые еще остались. Я уже рассказывал о попытке сделать это через комиссионный магазин, которым заведовала моя родная тетка Мэри – сестра отца, похоронку на которого мама к тому времени уже получила. Учитывая результат, бабушка стала ходить с вещами на рынок. Увы, ее практичность оставляла желать много лучшего. За хорошее платье она приносила полпачки маргарина.

Образцом практичности была наша хозяйка. Когда бабушка решила выбросить привезенные еще из Таллина и давно просроченные лекарства, хозяйка резко воспротивилась.

- Ты что, Исааковна, рехнулась, - завопила она. – Они ж на спирту. Я их выпью.

И выпила. Причем, без всяких последствий.

Смутно помню, как к ней приходили гости. Приглашение звучало так: «Приходи, чайку попьем, поищемся!»

И действительно, «искались» - вылавливали в голове друг у друга вшей.

Бани не было. Ее функции выполняла русская печь. Ее натапливали, потом выметали угли, настилали на под соломы, ставили таз с водой и залезали в зев, который закрывался заслонкой, чтобы не остывало. Вылезало оттуда что-то напоминающее камуфляжно раскрашенного негра. Сажу смывали холодной водой во дворе.

Зимой в дом брали теленка, чтобы не замерз. Тогда у Витькиной мамы появлялось еще одно занятие – бегать за теленком с ковшиком, чтобы он не загадил пол.

Надо ли говорить, что магазинные полки в Чистополе были почти пусты. Почти, потому что в избытке были две вещи, которые популярностью у местного населения не пользовались. Одна из них – консервированные крабы, другая – кофе в зернах. Как-то хозяйка позвала бабушку:

- Исаковна, поди сюда, третий час варю кашу, а они мягче не становятся!

Она пыталась сварить кашу из зеленых кофейных бобов.

Весной или в начале лета 1944 года Дина уехала в подмосковный Егорьевск. Там был создан учебный комбинат Совнаркома Эстонской ССР, где готовили кадры для Эстонии, скорое изгнание гитлеровцев из которой было уже ясно. Через несколько недель туда же, в Егорьевск, вызвали маму. Она была зачислена на курсы бухгалтеров. Из Казани мы плыли на пароходе. Я умудрился и тут нагнать своим поведением немислимого страху на маму.

Увидев широкую реку, я с восторгом завопил, видимо вспомнив Чистополь и свиней, с которыми, как я подозреваю, меня порой заставляли бок о бок: «Мама, смотри, какая большая лужа!» и полез сквозь леера. Меня ухватил за одежду случайно проходивший матрос.

В Егорьевске мы пробыли несколько месяцев. Как я сейчас понимаю, комбинат размещался в здании школы. В памяти остались огромные коридоры и комнаты, в которых жили по несколько семей. Когда мамы уходили на занятия, детей собирали «до кучи». Меня подсовывали богатой невесте по имени Таня – у нее была своя детская кроватка, с ограждениями. Мне скоро становилось скучно в этой кроватке, и я совершал первые, но, увы, отнюдь не последние в своей жизни, неблагородные поступки – я писал на Таню.

В начале октября, перед отъездом в Таллин, детям сделали прививки, в том числе и от кори. Доктор Ринг, которая и потом оказалась нашим

участковым педиатром, сделала прививку, очевидно, не очень чистым инструментом. Я заболел. Ехали мы эшелонам, состоявшим из товарных вагонов. У меня температура зашкаливала за сорок. Доктор осмотрела меня и равнодушно сказала: «Не выживет». Теперь, став отцом и бабушкой, я понимаю, что должны были пережить от этих слов мама и бабушка. Если бы не их самоотверженность, некому было бы писать эти воспоминания. Им помог еще один ехавший в эшелоне врач, отнюдь не педиатр.

Как бы то ни было, к приезду в Таллин 16 октября (советские войска вошли в город 22 сентября) кризис уже прошел. Нас разместили на первых порах в гостинице «Балти», находившейся на углу улицы Ваксали – недавно в этом здании снова открыли гостиницу, только уже фешенебельную. Но в ней мы пробыли недолго. Помню, как Дина, приехавшая в Таллин раньше нас, повела нас в нашу будущую квартиру в рабочем районе Пельгулинн (что в переводе значит – презренный город), на улице Теллискиви (Кирпичной) в доме номер 34. Это был деревянный двухэтажный пятиквартирный дом с садом. Именно этот дом, где нам суждено было прожить девятнадцать лет, я до сих пор воспринимаю как единственно родной.

Наш адрес – Теллискиви 34-5

На первом этаже нашего нового дома были три квартиры. Из них одна – трехкомнатная с большой кухней. В ней жили хозяева. Как ни странно, у дома были хозяева – Ида Яановна Гербер и ее муж – паровозный машинист на пенсии. По закону национализации подлежали дома площадью более 200 квадратных метров. В нашем доме было 196. Вероятно, было учтено и пролетарское происхождение хозяина. За долгие годы тяжелой работы они скопили денег, достаточных, чтобы купить на снос на острове Хийумаа, откуда был родом хозяин, дом, второй, полумансардный этаж которого был пригоден для обитания только в летнее время. Его немного утеплили, но зимой нашу квартиру натопить было делом нелегким. К утру все тепло выдувало, а потому вставание в школу темными зимними утрами, когда надо было вылезать из-под нагретого собственным телом одеяла в, мягко говоря, прохладу комнаты, особого удовольствия не доставляло. Может быть, именно с этого началась моя нелюбовь к школе, стойко продержавшаяся все десять лет учебы.

Остальные квартиры на первом этаже практически не отличались от нашей. Квартира состояла из передней, в которой с трудом помещались разом два человека, столовой-кухни – десятиметровой комнаты с нишей, в которой стояла дровяная плита и был кран холодной воды с маленькой чугунной раковиной. В нише еще помещался маленький комодик, на котором впоследствии появилась электрическая плитка. Рядом с плитой была дверь из столовой в спальню и рядом с ней дверь в чулан. Чулан был

в разрезе треугольным, поскольку потолок в нем заменял скат крыши. Летом оцинкованная жесть превращала чулан в подобие тропиков, зато зимой он заменял холодильник, о котором тогда и понятия не было. Помню, что масло летом держали в соленой воде, чтобы не растаяло. Естественно, в теплое время года никаких запасов скоропортящихся продуктов не делали, благо рынок был в соседнем квартале.

Когда мама с бабушкой увидели квартиру, на их лицах появилось просто какое-то блаженное выражение. Я не знаю, кто жил в этой квартире до нас. Но от прежних хозяев нам осталась не только мебель – четыре стула, буфет, кухонный комод и даже кровать, но и, о счастье, банка лущеного гороха, крупы. Немедленно была сварена перловая каша. Я ел ее впервые, как впервые ел от пуза. И с тех пор моя любовь к перловой каше неизбывна, как и к тюре – замоченному в молоке черному хлебу – моей основной пище в Чистополе. Раз уже зашел разговор о гастрономических изысках, не могу не сказать, что в первые годы в Таллине сырую картошку, которую мне давали вместо витаминов в Чистополе, сменили ее зажаренные прямо на покрывавшем плиту чугунном листе ломтики. Из обнаруженной в буфете серой муки бабушка испекла пышки-пустышки, рецепт которых остался для меня секретом, но вкусноты они были необыкновенной. Или мне тогда так казалось?

Обнаруженные в буфете продукты стали для нас поистине спасением. Ведь мама еще не работала, а потому и карточек у нас не было. Как не было и денег, чтобы покупать что-либо в коммерческих магазинах. Правда, длилось это недолго – маму направили на работу в отдел кадров Рыйвастускомбинат – комбината массового пошива одежды, расположенного на том месте, где сейчас за Главпочтамтом выстроен двухзальный кинотеатр. Мама получила оклад в 600 рублей (буханка хлеба на рынке стоила 200). Там она проработала недолго и вскоре вернулась в редакцию газеты «Советская Эстония», которую возглавлял Дмитрий Руднев, в качестве корреспондента.

Карточки сильно осложняли нашу с бабушкой жизнь, поскольку надо было не забыть их отоварить. Просроченные карточки просто пропадали. Помню, как в конце 1944 года мы встали в очередь за хлебом. Очереди тогда были длинные, в магазине не умещались, и приходилось часами стоять на улице. В тот раз мы стояли в самом центре города – на Суур-Карья, магазин находился сразу за зданием городской телефонной станции – бывшим банком Шелла. И вдруг очередь замерла – раздался надсадный вой сирен воздушной тревоги. Правда, больше ничего за этим не последовало, ни один самолет над Таллином не появился, и вскоре из репродукторов, которыми город был увешан, раздался сигнал отбоя. Но я запомнил, как изменились выражения лиц стоявших в очереди женщин, уставших от четырех лет войны.

Надо сказать, что ко времени нашего приезда значительная часть города стояла в развалинах. Сплошные развалины были в районе театра «Эстония». Тут сохранилось только здание Эстонского драматического театра и павильон рядом с ним. Расчищенная часть территории около театра и павильон стали единственным тогда в городе рынком, в павильоне продавались мясо и рыба. В ту зиму 1944/45 годов я регулярно совершал вылазки на этот рынок. Выглядело это так: бабушка усаживала меня в санки, сделанные каким-то кустарем-любителем, и везла с наших чертовых куличек в центр города. Сейчас это звучит смешно: от нашего дома до центра было двадцать минут ходьбы, до вокзала – пятнадцать. Но уже в двух кварталах от нашего дома город кончался и начиналась свалка – любимое место наших детских игр. Она тянулась от нынешней улицы Сыле почти до Штромки, от которой ее отделяла лишь полоса огородов. Совсем окраиной был ипподром, за которым начинались поля. С других сторон граница города проходила по Целлюлозно-бумажному комбинату на Тартуском шоссе, а до войны и Кадриорг считался загородом. Мама рассказывала, как почтенные таллинские обыватели летом грузили скарб на подводы и выезжали туда на дачу. Во всяком случае, поездка на трамвае до конечной остановки в Кадриорге была пределом мальчишеских желаний и воспринималась как серьезное путешествие.

В ту зиму 1944-45 годов Таллин выглядел малопривлекательно. Особенно центр. Он сильно пострадал в марте 1944 года во время бомбардировок советской авиацией. Говорят, что его бомбил женский авиационный полк Гризодубовой. Чем была вызвана эта бомбежка на самом деле, сказать трудно. Бомбили два района – нынешней горки Харью и вокруг театра «Эстония». Известно, что рядом с церковью Нигулисте стояла гостиница «Золотой лев», где, весьма вероятно, жили высокие чины вермахта. Судя по разговорам, неподалеку от театра «Эстония», примерно там, где впоследствии было построено здание ЦК Компартии Эстонии (ныне Министерства иностранных дел) находился штаб группировки немецких войск. В ту, еще военную зиму, я слышал разговоры военных о том, что, по данным разведки Балтфлота, в Таллин должен был прибыть Гитлер. И бомбежка была связана с этим. Верится в это с большим трудом. Весной 44-го советские войска уже стояли под Нарвой и вели непрерывный артиллерийский обстрел города, в котором к моменту вхождения частей советской армии остались 11 жителей. Предпринимались, насколько я запомнил, переводя много лет спустя на русский язык один из томов книги «Эстонский народ в Великой Отечественной войне», и попытки штурма Нарвы. Гитлеру было совершенно незачем пускаться в такие рискованные авантюры. Но, вполне возможно, что кто-то из высокопоставленных генералов или чиновников Третьего рейха в Таллин все-таки приезжал. К счастью, из средневековых зданий пострадали только церковь Нигулисте, стоявшая без шпиля, и часть зданий на улицах Нигулисте и Харью.

Вышгород бомбардировка не затронула. В развалинах стоял театр «Эстония». Улица Лембиту практически не существовала, как и нынешний бульвар Рявала, улица Кентманни, Посреди нынешней площади Виру, тогда площади Сталина, торчал один дом, находившийся примерно там, где потом расположился Дом быта. Говорят, что немцы при отступлении взорвали еще и портовые сооружения. Этого я, естественно не видел, поскольку к порту никого и близко не подпускали. Мы научились проникать туда несколько лет спустя, когда увлеклись изготовлением самокатов. В порту грудями валялись ржавые подшипники, которые насаживались на деревянную ось и вставлялись в прорези доски, великолепно исполняя функции колес самоката. Нас гоняли оттуда, но это был напрасный труд – желание иметь свой самокат все равно пересиливало. Кроме того, подшипники можно было выгодно обменять на какие-нибудь другие железки, которые я складывал в шкаф на лестничной клетке, откуда бабушка регулярно эти железяки выбрасывала. Но это было позже.

А с развалинами я хорошо познакомился именно в ту первую зиму в Таллине. По другую сторону улицы Хобуяама от нынешнего Главпочтамта стояли чудом сохранившиеся бензоколонка и два двухэтажных деревянных дома, за которыми располагалось одноэтажное каменное здание кинотеатра «Форум». В одном из этих домов жили бабушкины знакомые Белостоцкие, к которым она и отправилась в гости, взяв меня с собой. Мама в тот вечер впервые пошла на концерт – в Таллине выступала Гоар Гаспарян. Поговорив и попив чаю, что называется «с таким и без никому», мы встали, бабушка одела меня и, продолжая разговор, стала одеваться сама. Но, как говорится, еврей прощается и не уходит. Так произошло и тут. Разговор никак не заканчивался, и мне стало жарко.

- Выйди на лестницу, подожди меня, - сказала бабушка, заметив, что я уже вспотел.

Я вышел. Ждал, как мне показалось, очень долго, а потом решил: «Пойду потихоньку, бабушка меня догонит!» И пошел.

Из общественного транспорта в городе работал только моторный трамвай на линии Копли – Балтийский вокзал. Сразу за вокзалом был большой деревянный круг, на который трамвайный вагон заезжал, вагоновожатый выходил, брался за большую деревянную оглоблю и разворачивал вагон, чтобы ехать в обратную сторону. Но мне туда было не надо. Я пошел пешком. Первым препятствием стала площадь, по которой сновали полуторки и трофейные немецкие грузовики. Через площадь наискосок вела дорожка, по которой ее пересекали пешеходы. Но один я на такой марш-бросок не решился, а пристроился к какому-то совершенно не знакомому мужчине, делая вид, что иду с ним. Когда он останавливался, останавливался и я. После площади он мне уже был не нужен. По Пярнускому шоссе я дошел до Яановской церкви, пересек улицу Харью,

перевалил через Вышгород и вышел на улицу Техника. Оттуда по Роху, свернул на Теллискиви и оказался у дома, где мы жили. Что мамы нет дома, я не знал и был весьма удивлен, что на стук в дверь никто не откликнулся. Постояв, я спустился на первый этаж и постучал в дверь к хозяйке дома Иде Ивановне, как звала ее бабушка. Ида Яановна очень удивилась, увидев меня, и спросила о бабушке. Я ответил, что она отправила меня вперед и скоро придет. В то время мое знание эстонского языка, естественно, равнялось нулю, и разговор велся по-русски. Несмотря на то, что Иду Гербер вряд ли можно было отнести к эстонской интеллигенции, она свободно говорила и по-русски, и по-немецки. А уж по радушию и дружелюбию она никак не уступала «загадочной русской душе». Вскоре в гостиной мне были поставлены две скамеечки – одна, повыше, исполняла роль стола. На нем появились чашка чаю, ломоть посыпанной сахаром булки и банка с домашним вареньем. Кои я и принялся уплетать. Через довольно долгое время раздался звонок в дверь. Ида Яановна открыла дверь, в передней были слышны голоса, потом в комнату буквально ввалились бабушка и ее сестра Роза и, увидев меня, пожирающего булку с вареньем, буквально плюхнулись на диван, не в силах произнести ни звука. Потом я узнал, что, обнаружив, что я пропал, бабушка подумала, что я могу пойти домой, прибежала, но меня у дверей квартиры не обнаружила. Она помчалась к сестре, которая только что переехала от нас – наша квартира была перевалочным пунктом для всех родственников, возвращавшихся в Таллин – на улицу Теразе. Они позвонили сыну Розы Аде, который был тогда редактором республиканской молодежной газеты «Ноорте хяэль» (Голос молодежи). Адя связался с радиокомитетом, и в эфир пошли объявления, что пропал мальчик в плюшевой шубке. Страха моим родным добавляли гулявшие тогда по Таллину идиотские слухи, что в развалинах ловят детей и пускают их на колбасу. Сестры решили снова вернуться на Теллискиви, чтобы посмотреть, не объявился ли я. Адя просил позвонить ему и сообщить результаты. Но тетя Роза в панике забыла номер его телефона, и они вместе с бабушкой спустились к Иде Ивановне, которая регулярно покупала «Ноорте хяэль», чтобы посмотреть номер телефона. Тут-то все и разъяснилось. Должен сказать, что от радости меня забыли даже наказать за своеволие. А от мамы все происшедшее еще какое-то время скрывалось.

Надо признаться, что хождение вечером в трехлетнем возрасте мимо развалин и впрямь было небольшим удовольствием.

В доме на Теллискиви мы были единственными «инородцами». Это был типичный дом рабочей окраины, обитателями которого были Арро - шофер грузовика с женой, семья ремесленника Кеппера, мастерская которого находилась здесь же, в подвале (потом эта мастерская стала металлоцехом какой-то промартели, где делали болты и гайки), пенсионерка с распухшими от болезни ногами. За все девятнадцать лет, что мы прожили в

этом доме, я не помню ни одного конфликта между жильцами, ни на какой почве, в том числе и национальной, хотя бабушка до конца своих дней могла произнести по-эстонски только «Тере!» (Здравствуйте!), «Палью максаб?» (Сколько стоит?) и «Андке одавам» (искаженное: Продайте дешевле), то есть слова, которые были ей необходимы для общения на рынке.

При доме был сад, принадлежавший хозяйке. Весной из окон чердака рядом с нашей квартирой открывался изумительный вид на него, особенно когда совпадало цветение тюльпанов и яблонь. Цветы и яблоки были для хозяйки важнейшим подспорьем, ибо пенсию получал только муж, и то не очень большую.

С достижением школьного возраста ко мне и моим одноклассникам, жившим неподалеку, пришел вкус к халявным яблокам. Мы совершали набеги на все окрестные сады. Единственный сад в округе, из которого я без разрешения не съел ни одного яблока, был сад нашего дома. Конечно, никогда Ида Яановна не сказала бы мне ни единого слова, увидев, что я сорвал с дерева фрукт, который на нашем домашнем столе был далеко не всегда. Но именно то, что она разрешала мне бегать по всему саду, наполняло меня сознанием того, что я не могу совершить по отношению к ней подлость, воспользоваться ее доверием. К сожалению, я не мог привести в этот сад своих друзей. Они могли смотреть на него только из окна подвала, да и то при этом сад наполнялся неистовым лаем.

Небольшой участок земли между домом и садом, именовавшийся двором, принадлежал могучей немецкой овчарке по кличке Нара. То есть, она не сразу стала могучей. Когда мы поселились, это был еще почти щенок – любимый товарищ моих детских игр. Стоило мне появиться во дворе, где Нара сидела на цепи, как раздавался захлебывающийся от радости лай, а хвост начинал вертеться со скоростью крыльев мельницы в ветреную погоду. Я мог вытворять с собакой все, что угодно. Она терпела все. Даже, когда я садился на нее и катался по двору. Надо сказать, что она очень дружелюбно относилась ко всем обитателям дома – они были свои. Однажды, когда мы перетаскивали в сарай закупленные на зиму дрова, бабушка упала, поскользнувшись. Цепь не позволяла Наре дотянуться до упавшей. Она вытянула ее на максимально возможную длину и выла от бессилия помочь. Но стоило появиться чужому, как добродушное и ласковое животное превращалось в злого и агрессивного зверя. Однажды мальчишки из ватаги наших конкурентов решили все-таки восстановить справедливость, как они ее понимали: ни один сад не имел права оставаться нетронутым. О существовании собаки они знали и соответственно подготовились. Один из них влез на забор, вооружившись длинной палкой с крюком на конце. Этим крюком он стал срывать груши с росшего неподалеку от забора дерева. Нара, мгновенно учув нарушителя

спокойствия, рванулась, порвав толстый кожаный ошейник, и помчалась к забору в дальнем конце сада. Там она подпрыгнула, ухватила воришку за щиколотку, стащила с забора. Взбудораженный бешеным лаем весь дом бросился туда. Мы увидели потрясающую картину: собака, которую никто, никогда и никак не дрессировал, поступила по всем правилам. Она стояла, рыча, над поверженным мальчишкой, у которого была укушена нога, но больше его не трогала. Хозяин обнял собаку, а хозяйка вывела мальчика из сада и перевязала ему ногу. Это была первая и последняя попытка ограбления сада. Точно так же Нара повела себя и тогда, когда одна из маминих подруг, не застав никого дома, решила посмотреть, не сидим ли мы в саду. Он просто высунулась из двери подвала – единственного, не считая всегда запертых ворот для транспорта, входа в сад, и была немедленно укушена за ногу сорвавшейся с цепи собакой. Укус был не очень серьезный, как и в случае с мальчиком, второго укуса тоже не последовало, но знак того, что сюда чужим нельзя был вполне ощутимым.

Зимой 1946 года я заболел и несколько месяцев не появлялся в саду. Вышел туда уже весной, но было еще прохладно, и на меня надели шубу. Нара, ошалев от радости, подбежала ко мне и прыгнула, положив передние лапы мне на плечи. Я опрокинулся навзничь, прямо в лужу. Но тоже был счастлив от встречи после долгой разлуки.

В самом конце сороковых годов я поймал в саду галчонка с подбитым крылом. Я унес его домой и несколько недель выхаживал. Потом вынес в сад, чтобы он мог хотя бы попытаться вновь взлететь. Он и взлетел, но очень тяжело и на свое несчастье невысоко. Естественно, занятый галчонком, я забыл про Нару. А она, спружинив на лапах, взвилась в воздух, хватанула галчонка и, когда он упал замертво, брезгливо отошла, повернувшись ко мне задом. Говорят, у животных нет чувств. Это было таким разительным проявлением и ревности, и презрения к предательству старых друзей во имя новых, что даже мой малолетний рассудок воспринял это как предметный урок.

Совсем не так она реагировала, когда у меня появился щенок. Я привез его из Тарту, где у тети Дины оценилась в очередной раз дворняга Тобка. Она дважды в год приносила по шесть щенков, с которыми взрослые не знали, что делать. Часть раздавали знакомым, но их число не росло так быстро, чтобы соответствовать плодовитости Тобки. Однажды меня и моего двоюродного брата Женю уговорили отнести щенков в виварий университета. Каков же был ужас бабушки и Дины, когда вместо шести щенков мы принесли подаренных нам в виварии двух морских свинок. Но этот щенок был особенный – он родился без хвоста. Он был уморителен, как все щенки, ласков и очень любил обои. За что его не очень любила бабушка. Памятуя об уроке, данном мне Нарой, я, вынеся щенка в сад, первым делом подошел к Наре, погладил ее и дал понюхать щенка. Нара, из-за своей цепи так и не познавшая радости материнства, немедленно

облизала его, и мы принялись играть втроем. Неприятный момент возник, правда, когда я уносил щенка в дом. Наре это очень не понравилось, она заворчала было. Но долго сердиться на меня не смогла, утром я снова вынес щенка в сад, и она скоро привыкла, что вечером расстается с ним. Продолжалось все это, к сожалению, недолго. Бабушка не очень любила животных в доме, и вскоре отдала щенка кому-то из своих знакомых. Я плакал весь день. Нара на следующее утро тоже недоумевала.

Наре было двенадцать лет, когда умер хозяин – молчаливый и не очень ласковый на вид человек. Я никогда не видел, например, чтобы он ласкал собаку. Но в день его смерти Нара завывала, перестала есть, только изредка лакала воду. Хозяйка вливала ей в глотку рюмку водки, чтобы Нара хоть что-нибудь съела. Результат был почти нулевым. За несколько дней красивое и сильное животное превратилось в развалину, ее разбил паралич задних конечностей, и собаку пришлось усыпить. Для меня это было настоящей трагедией.

С тех пор я очень люблю собак и не понимаю любви к кошкам, которые гуляют, где вздумают, ходят сами по себе. Собака тебя любит, а кошка позволяет себя любить. Но тут возникает непреодолимое противоречие: я, мягко говоря, не слишком люблю маленьких комнатных собачонок. Мне нравятся крупные собаки – овчарки, ньюфаундленды, лабрадоры, причем мне наплевать на чистоту породы. Но большой собаке нужен простор, нужно движение. Держать ее в квартире, как мне кажется, преступление перед собакой. А дать ей этот простор я, городской житель, не могу.

Одно из самых сильных впечатлений тех лет – День Победы. Когда уличный репродуктор-колокольчик донес эту весть, в нашей семье разверзлись хляби небесные. Это была разрядка после всего пережитого, это была наивная надежда на то, что все плохое уходит в прошлое. Для мамы, как я сейчас понимаю, это были еще и слезы по загубленной молодости, по считанным месяцам жизни с папой, по тому, что он не дожил не только до этого дня, но и даже до дня рождения своего сына. Вечером, принарядившись, насколько это было возможно для нас в тех условиях, мы всей семьей пошли «в город». На нынешней площади Свободы (Вабадузе вяльяк) стояли пушки. В толпе народа затерялась даже моя любимая фигура регулировщика, артистически дирижировавшего полосатой палкой движением транспорта на одном из самых людных перекрестков Таллина.

Не могу не сделать небольшое отступление: одним из регулировщиков, работавших на этом посту, был очень крупный парень, на котором милицейская форма любого размера казалась надетой на переростка. Он совмещал два дела – регулировал движение и пел. Там, на перекрестке его пение и слышал кто-то из деятелей эстонской культуры. Парня пригласили на прослушивание, а через несколько лет в оперной труппе

театра «Эстония» появился замечательный певец Александр Пюви. Я слышал его в опере «Певец свободы» Густава Эрнесакса, где он выступал в роли бывшего узника фашистского концлагеря. Впечатление от его исполнения мне испортил мой неистребимый натурализм. Пюви был в лохмотьях, из-под которых во все дыры выступало его отнюдь не измученное лагерной диетой и истязаниями могучее тело. Но голос у него был изумительный.

Возле площади мы встретили массу знакомых. Меня неожиданно подхватила на руки Нуся – мамина двоюродная сестра. Потом подошли бабушкины подружки Ганна и Циля Каан. Первая из них потом учила меня в школе английскому языку. Когда грянул салют, Ганна Вульфовна от неожиданности сделала резкое движение и, подвернув ногу, свалилась с деревянного помоста трамвайной остановки. Обнимались и целовались совершенно не знакомые люди.

Вторая половина сороковых годов была голодным временем. Нас было трое, а работала одна мама. Правда, перейдя в газету, она стала зарабатывать больше, чем на швейной фабрике, но все равно очень не много. Мама с бабушкой жили, в общем-то, дружно. С бабушкой вообще трудно было поссориться. Но если возникали у них размолвки, причина у них была всегда одна: бабушка просила денег, чтобы сходить на рынок или в магазин, а денег не было. Как я теперь понимаю, для мамы было мукой, что она не может обеспечить семью, как надо, а от этого она срывалась, кричала, что деньги не печатают и не воруют.

Мама пока фигурирует в моих воспоминаниях о тех годах мало не потому, что она обо мне не заботилась или я ее не любил. Просто я ее редко видел. Иосиф Виссарионович любил работать ночью, а потому по ночам работала вся страна. Мама уходила на работу к девяти утра, а возвращалась в час-два ночи, а порой и в пять утра, чтобы к девяти снова идти на работу. Ведь газету ночью только печатают, а делают ее днем, но ночью надо было быть на месте на всякий случай, потому что все начальство сидело ночью на работе и мало ли что ему в голову взбредет. В одну из таких ночей из редакции домой на улицу Техника шла одна из самых близких маминих подружек – корреспондентка «Советской Эстонии» Нина Тихонюк. В скверике у пруда Шнелли на нее напали. Ее пытались изнасиловать на горке прямо напротив городского управления милиции, которое располагалось там, где сейчас управа Кесклинна. Ее дикие крики спугнули насильников, но Нина после этого тяжело заболела психически, промучалась несколько лет и умерла совсем молодой.

Особенно тяжело стало в 1947 году, когда мама перешла на работу в Эстонское телеграфное агентство – эстонское отделение ТАСС. Центральный его аппарат работал круглосуточно, но там было много

людей и были смены. В ЭТА смен не было. Поэтому до четырех-пяти утра работали регулярно. И даже много лет спустя, когда после выхода мамы на пенсию я пришел на ее место, не было ничего чрезвычайного в том, что мой рабочий день мог заканчиваться в час-два ночи. И не только мой. В таком режиме работал весь наш небольшой коллектив, кроме узла связи и редакции союзной информации, т.е. переводчиков на эстонский язык, где таки были смены.

Я был единственным ребенком в семье, и, конечно, меня очень баловали. У бабушки существовала строгая иерархия: самый лучший кусочек – маме как кормильцу, потом – мне, а уж что останется – себе. Но мама часто подменяла свой лучший кусочек на мой. Иногда по воскресеньям мама отправлялась в кафе встретиться с подругами. Меня она почти всегда брала с собой. Мы поднимались на второй этаж кафе, которое по привычке называлось «Фейшнером» по имени его довоенного владельца, потом там сделали варьете «Таллин», а еще потом – ирландский паб. Мне и до сих пор жаль этого уютного и такого вкусного чисто таллинского кафе, со свежайшими булочками и пирожными, ароматнейшим кофе, седыми благообразными дамами, часами сидящими вокруг маленьких столиков с чашкой такого кофе и ведущими степенные беседы, скрипачом и пианистом, игравшими Брамса и Листа.

Теперьшние заведения такого рода все на одно, европейское, а скорее, американское лицо. Каждое из тогдашних кафе обладало своим, неповторимым. «Пярл» на улице Пикк славился московскими и масляными булочками, кафе «Харью» на Суур-Карья – кофе со сливками. И публика в них была разная. Ее впоследствии великолепно со свойственным только ему юмором описал Юхан Смуул в пьесе «Вдова полковника или врачи ничего не знают», вызвавшей в свое время бурную полемику.

Прибалтийским военным округом, охватывавшим и территорию Эстонии, командовал в конце 60-х генерал-полковник Хетагуров. Его жена Валентина была личностью более известной, чем генерал. В 1932 году она, стремясь обзавестись мужем, поехала на Дальний Восток и вышла замуж за лейтенанта, а потом бросила клич: девушки – на Дальний Восток! Там действительно, не хватало женщин. И движение это было тщательно организовано сверху, а в качестве инициатора выбрана, как тогда это делалось, подходящая по своим анкетным данным женщина из простой рабочей (крестьянской – я могу об этом только догадываться) семьи. По команде все газеты и радио затрубили о великой патриотке. Это способствовало и быстрой карьере ее мужа. Он закончил службу генералом армии. Разумеется, все это не могло не сказаться на гоноре Валентины Хетагуровой. Она усмотрела в тупой, но полной гонора главной героине пьесы пародию на советскую офицерскую жену, более того, на саму себя и выступила в качестве литературного критика (статья была подписана

подполковником Мокроусовым из политотдела округа, но сотворена явно под диктовку генеральши) в газете министерства обороны «Красная звезда». Однако Смуул в то время был уже лауреатом Ленинской премии за «Ледовую книгу» - дневник путешествия в Антарктику, и оказался мадам Хетагуровой не по зубам. Он ответил довольно кратко в «Известиях», и суть ответа сводилась к тому, что очень рад, когда люди узнают себя в его литературных героях. На самом деле, время, в котором действуют герои пьесы, весьма неопределенное, и действие вполне может относиться ко временам довоенной Эстонии.

У «Фейшнера» моим коронным номером были сосиски с картофельным салатом и абрикосовый сок. Раза два в месяц мамины финансы это позволяли. Однажды мама решила изменить мое меню и взяла мне пирожное. Я откусил и попросил положить на него кильку – было приторно. Очевидно, в первые годы моей жизни я не знал, что такое сласти, а потому не выработал и привычки к ним. В гостях я мог съесть полконфеты, даже шоколадной (дома у нас ими и не пахло), отдав предпочтение бутербродам с самой дешевой вареной чайной колбасой по 16 рублей килограмм. Любовь к сладкому не прорезалась у меня и до сих пор, зато сохранилась любовь к вареной колбасе.

До 1947 года все основные продукты продавались по карточкам. Мне запомнилось, как во время наших летних поездок с бабушкой в Тарту, мы с Женей ходили получать по карточкам хлеб. Точно отрезать четырехсотграммовый кусок продавщице удавалось не всегда, тогда мы получали кусок с довеском, который немедленно сжирали. Однажды Женя, который старше меня на три года, - значит, ему было лет восемь, придумал, как нам наесться: он велел мне стать возле магазина с протянутой рукой и собирать милостыню. Это оказалось выше моих сил. И мы пошли утешаться огурцами с грядки во дворе их дома на улице Тяхе. Огурцы мы тщательно мыли в бочке, стоявшей под водосточной трубой, водой, предназначенной для полива грядок, потом резали вдоль пополам и натирали половинки утащенной из дома крупной солью. Как это было вкусно!

В 1947 году, после денежной реформы, карточная система была отменена. Эстония во второй половине 40-х годов не знала того голода, который унес тысячи и тысячи жизней в других регионах Советского Союза. На рынке, куда бабушка часто брала меня с собой, было в избытке мяса, молока, сметаны, яиц, картофеля, местных ягод и фруктов (летом и осенью, конечно). Но на рынке все это было значительно дороже, чем в магазинах. А в магазинах было дешево, но не было ничего, кроме черной и красной икры и штабелей консервированных крабов. Икра красная стоила 169 рублей килограмм, и ее никто не брал. Крабы за приличную еду вообще не считались. А за остальным выстраивались очереди, и каждый, стоящий

впереди, был твоим врагом, из-за которого тебе может не хватить колбасы. Особенно плохо было с мукой и сахаром. Они появлялись в продаже не чаще раза в неделю. Продавщицы магазина на углу улиц Теллискиви и Ристуку шептали постоянным покупателям на ухо: «Завтра будут давать...». Уже с ночи выстраивалась длинная очередь. Причем эти товары продавали не в магазине, а через окошко в заборе. Давали по полкило на человека. Мы, малолетки, тоже считались людьми. Но нельзя было привести ребенка к тому моменту, когда подходила твоя очередь. Тогда начинался крик, что он не стоял, и на него не давать. Поэтому бабушка, занявшая очередь с вечера, прибегала среди ночи домой, поднимала меня и сонного, ничего не соображающего тащила на пять минут в очередь. После чего отводила на несколько часов домой, а потом все это повторялось. Когда дома создавался запас на некоторое время, или просто кончались деньги, эти принудительные мытарства отпадали. Но мы (я имею в виду моих ровесников) настропалились зарабатывать какие-то копейки на том, что сдавались внаем. Если муку и сахар начинали давать утром, то естественно, ни работавшие, ни учащиеся члены семьи стоять в очереди не могли. А доказать, что у тебя в семье пять едоков, которым полкило муки – на один зуб, было невозможно. Поэтому стоявшие в очереди, в основном пожилые люди, с радостью нанимали «внуков», которым давались за стояние в очереди деньги на мороженное или кино, т.е. рубля два. Бывало, что за день мы сшибали десятку. Но очень часто у старухи, стоявшей в очереди из последних сил, просто не было денег, чтобы заплатить и за муку, и нам. К чести моих соратников по «бизнесу» должен сказать, что мы очень четко научились различать, кто не может заплатить, а кто не хочет. И с первых мы ничего не брали. Нам угрожали две опасности: во-первых, могли узнать родители. В те года раннее включение в деловую жизнь очень даже не поощрялось. Вторая опасность таилась в продавщицах – они уже знали нас в лицо и могли на нас не дать вожаемые полкило. От второй опасности спасало то, что мы не доставали ростом до окошка в заборе и, чтобы доказать свое присутствие, поднимали руку, а потом, затурканным и замотанным ругающейся очередью продавцам было, как правило, не до нас. От первой же опасности увильнуть удавалось не всегда, и на меня выливался поток увещаний, что это нечестно. Не то, что на меня получали продукты, а то, что я за это беру деньги. Какое-то время мне было стыдно. Но потом я оправдывал себя тем, что я же не со всех беру.

Отчасти чтобы прекратить мои первые и самые удачные за всю жизнь коммерческие сделки, меня отдали в детский сад. Он располагался напротив того магазина, где давали муку и сахар, на углу улиц Теллискиви и Ристуку в одноэтажном домике. Сейчас там стоянка для автомобилей. Обветшавшее здание снесли в шестидесятые годы.

Я уже говорил, что район наш был пролетарский, они и назывался Пельгулинн, что значит Презренный город. Населяла его в основном эстонская беднота. В детском саду ни одна из воспитательниц и ни один ребенок не говорили по-русски. А эстонского не знал я. Кроме того, я не очень привык к строгому режиму. Особенно послеобеденному «мертвому часу». Нам категорически запрещалось выходить за низенький заборчик, отделявший палисадник от улицы. Я с завистью смотрел на детей, которые как свободные люди проходили мимо. Это чувство зека было самым мучительным. Две недели меня водили в детский сад под мой дикий рев. Я ненавидел кашу из муки «Кама», не то овсяной, не то ячменной, которую давали с простоквашей - одно из традиционных эстонских блюд, я давился изысканным лакомством – гоголем-моголем, о котором и до сих пор вспоминаю с ужасом. А главное, я был в садике волком-одиночкой, поскольку общению мешал языковой барьер. Свое положение парии я компенсировал весьма не великим послушанием. Поняв, что заставить меня лежать целый час в постели невозможно, воспитательницы отправляли меня жестами в угол. Куда я с радостью и отправлялся. Правда, когда надзирающие уходили, я в углу не стоял, а сидел, подтащив какие-нибудь игрушки, которые были мне недоступны в обычное время, потому что драться я не умел, да и был, что называется мелким, особенно по сравнению с эстонскими пролетарскими детками, а добровольно мне их никто из «коллег» не давал.

Исключение составлял один мальчик, живший в соседнем с садиком доме, который сыграл впоследствии довольно большую роль в моей жизни. Его звали Вальдур. Обмен именами был единственно возможным для нас вербальным контактом. Но мы и без слов находили общий язык. Нередко и в части стояния или сидения в углу. Его мама была преподавательницей английского языка в Таллинском политехническом институте (ныне технический университет).

Так продолжалось, повторяюсь, две недели. На третью меня прорвало – я заговорил по-эстонски. Но и это длилось недолго – пару недель. Я заболел и в садик больше не вернулся – на следующий год предстояло идти уже в школу. Эти недели в значительной степени определили всю мою дальнейшую жизнь. Они дали знание основ языка народа, среди которого прошла моя жизнь, что позволило мне работать в тех сферах, где были заняты в основном эстонцы, познать культуру этого народа, без чего оказались бы невозможными ни моя журналистская и переводческая деятельность, ни участие в политике.

В те послевоенные годы началось восстановление разрушенной войной экономики Эстонии. Теперь, с расстояния в шесть десятилетий, я понимаю, что индустриализация Прибалтики была частью политики ее советизации и русификации.

Сталин, отчасти совершенно обоснованно, полагал, что народы присоединенных к Советскому Союзу в предвоенные годы территорий, познакомившись непосредственно с гигантскими достижениями социализма в области жизни и быта народных масс, не сравнимыми с тем уровнем жизни, который был, во всяком случае, в Прибалтике, до советской власти, не проникнутся большим восторгом. Повторить с ними в полном объеме то, что было сделано с крымскими татарами, чеченцами и ингушами, поволжскими немцами, он все же не решился, ограничившись в Эстонии «лишь» двумя массовыми депортациями – июня 1941 года и весны 1949 года. Первым делом была значительно усилена группировка советских войск в Прибалтике. Таллин стал главной базой Балтийского флота. Военные моряки буквально наводнили город. Одно из зданий на Ратушной площади, где теперь Дом учителя, превратилось в гарнизонный Дом офицеров. Свои первые познания в сексуальной области мы получали пяти-шестилетними пацанами в Нижнем парке (теперь парк Хирве) у подножия бастионов Вышгорода и на заброшенном пляже Штротки, где сохранились с довоенных времен кабинки раздевалок. Там матросы крутили любовь с фабричными девчонками, особенно с вновь пущенной Балтийской мануфактуры. Традиционными были и стычки матросов с солдатами, которые взаимно презирали друг друга. Матросы считали солдат грубой пехтурой, а себя военными аристократами. Солдаты матросов – неженками, не знающими, что такое окопная грязь и настоящий труд войны. Ведь подавляющее большинство и солдат, и матросов тех лет прошли через бои и ждали демобилизации. Нередки были драки между ними на бляхах. Для пущей результативности медные бляхи поясных ремней заливались с внутренней стороны свинцом. Крови в этих драках текло, конечно, меньше, чем на войне, но вполне достаточно, чтобы вызывать соответствующие чувства у непривычных к такому поведению эстонцев. Не хочу сказать, чтобы военные вызывали у местного населения резкую неприязнь, но разумным считалось держаться от них подальше. И эстонские девушки, которые начинали крутить амуры с парнями в форме, подвергались массированному воздействию и собственных родителей, и общественного мнения.

Раздражение у местных вызывало и то, что в значительной степени разрушенном Таллине лучшие дома отдавались под квартиры высших и старших офицеров, НКВДэшников и начавшего приезжать сюда прочего начальства.

Восстановление народного хозяйства стало предлогом для массового переселения в Эстонию обитателей, главным образом, разоренного и войной и советской сельскохозяйственной политикой Нечерноземья. Я встречался уже в сознательном возрасте со многими представителями той первой, послевоенной переселенческой волны. Они делились на две

категории. Первая – миссионеры. Эти люди были убеждены, что едут сюда, в совершенно дикую страну, чтобы нести аборигенам культуру, и даже грамоту. Именно так им характеризовали их роль и те, кто их в Эстонию отправлял. Для второй движущей силой был меркантилизм. И совсем не обязательно с негативным оттенком. Просто это была возможность вырваться из крепостного права российского колхоза, заработать что-то для прокорма оставшейся в нищей деревне семьи. Основу приезжавших составляли работники или совсем без или весьма низкой квалификации. Разумеется, как и в любом другом случае, черно-белая гамма не может дать полной картины явления. Существовала еще масса тонов и оттенков. Так, часть интеллигенции рванулась в Прибалтику как оазис относительной свободы и духовного благополучия, еще не задавленный идеологическим прессом режима. Приезжали высококвалифицированные рабочие для работы на предприятиях тех отраслей, которых в Эстонии до войны не было. Но все они, сами того не сознавая, для режима выполняли в первую очередь совершенно другую функцию – создания опоры режима в ненадежной среде. И когда сейчас наши ультра называют их оккупантами – это не может не звучать кошунством для людей, которые искренне верили, что едут помочь братскому народу. Ни на кохтла-ярвеском шахтере, ни на нарвской ткачихе, ни на таллинском судостроителе нет сознательной вины перед эстонским народом. Не ехали они сюда колонистами, чтобы эксплуатировать аборигенов. Они ехали работать. Ехали за лучшими условиями жизни. И уж если, то надо тогда признать точно такими же оккупантами тысячи эстонцев, которые во время столыпинских реформ уезжали в Сибирь, на Кавказ, на Дальний Восток, а то и вовсе за океан. Вспомним Хемингуэя, который писал, что в любом порту мира встретишь эстонца.

В первый же послевоенный год в Таллине начались восстановительные работы. На них по графику выходили все – рабочие учреждений и предприятий города, студенты, школьники, домохозяйки. Поскольку я еще не относился ни к одной из этих категорий, то мое участие в восстановительных работах заключалось в том, что я «помогал» маме. Из многочисленных выходов на эти работы мне запомнились два. Первый – на горку Харью, которой еще не было. Вместо нее были груды битого камня и искореженного металла. Все это укладывалось на ручные носилки и относилось к стоявшим на улице грузовикам.

Когда вся эта груда была убрана, привезли землю, засыпали подземную часть развалин, насыпали еще сверху целый холм и посеяли на нем траву. Именно после этого по Таллину ходила шутка, что еще одна война и Таллин превратится в город-сад. В конце 80-х годов все засыпанное тогда разрыли, дабы всем видно стало «преступление» советской авиации. В 2007 году городские власти, которыми были в то время центристы,

засыпали раскопанные развалины и восстановили сквер. История повторилась, только уже ближе к фарсу.

Второй выход был связан с трамваем. Решено было продлить трамвайные пути от вокзала до тогда еще Центральной, а потом площади Сталина, соединив эту линию с уже существовавшей трамвайной линией на Кадриорг.

Поэтому сразу за вокзалом началась расчистка полосы под рельсы.

В 1946 году, если я не ошибаюсь, в Таллине пустили первое «маршрутное такси». Это был грузовик со свисающей с заднего борта металлической лестницей. Последняя ступенька ее была слишком высоко, чтобы я мог самостоятельно забраться на нее. Приходилось поднимать меня на руках. А потом начиналось следующее испытание: вдоль бортов грузовика тянулись скамейки. Ограждение заключалось в одной доске, идущей на уровне середины спины взрослого человека. Но я-то в промежуток между сиденьем и этой доской пролезал целиком, да еще с запасом. Поэтому ехал, намертво вцепившись в сиденье и не доверяя даже маминой или бабушкиной руке, удерживавшей меня. Такси ходило по Палдиски маантеэ к центру и обратно. Потом появились автобусы. Это были трофейные немецкие машины, дизельные «буссинги». Все маршруты сходились к центральной площади, где на месте нынешней гостиницы «Виру» стоял деревянный павильон диспетчерской. Посредине площади проходили трамвайные рельсы. Трамвай сворачивал с площади прямо на Тарту маантеэ, где никакого Дома торговли и в помине не было, и шел до «капитанского мостика» - пивной напротив целлюлозно-бумажного комбината. Поскольку посреди площади находилась развилка двух направлений – на Кадриорг и на Тартуское шоссе, вагоновожатый выходил из трамвая со стальным ломиком и вручную переставлял рельсы на стрелке. Трамваи были солидные – красные с начищенными медными поручнями, жесткими лавками вдоль бортов и свисающими с продольных деревянных штанг брезентовыми ремнями с треугольными ручками – для едущих стоя пассажиров. Самое большое наслаждение было ехать на задней площадке, где толпился молодежь и не очень солидная публика, но очень заманчива была и поездка на передней площадке, где сквозь стекло двери можно было наблюдать за работой вагоновожатой. Но был вариант и еще более интересной поездки. Летом к солидным и важным вагонам, следующим до Кадриорга, цепляли почти что игрушечные открытые вагончики – своего рода летние павильончики на колесах. В них не было не только окон, но и дверей. Были лишь проемы. Пассажиров почти всегда было больше, чем места в вагонах. Поэтому лесенки, ведущие внутрь вагонов, напоминали виноградные грозди. Но самый шик был прокатиться на «колбасе» - литой штанге сцепки вагонов. Это уж был гарантированно бесплатный проезд.

Трофейные автобусы затем сменились ЗИСами 154 и 155. А спустя несколько лет на междугородных линиях появился сверкающий никелем серебристый ЗИС 127, развивавший бешеную по тем временам скорость – до 120 километров в час (теоретически, конечно).

Первые послевоенные годы в Таллине еще процветал извозчичий промысел. Прокатиться на извозчике было мечтой всех мальчишек, но мечтой недостижимой.

Мы приехали в Таллин одними из первых среди всех родственников. Поэтому все они, вернувшись из эвакуации, прежде, чем оформить свое жилье, останавливались у нас. На 28 квадратных метрах нашей квартирki жили временами вместе с нами по шесть-семь человек. Через нее прошли тетя Роза с дядей Самуилом, потом другая бабушкина сестра Феня с мужем – бывшим ювелиром, а потом часовщиком дядей Левой. К ним еще приехала их старшая дочь Мирра с мужем, которого она нашла в эвакуации, Семеном, ставшим потом преемником дяди Левы в часовой мастерской в подвале на углу Ратушной площади, в доме с загадочно отсутствующими шестью апостолами – на медальонах на стене дома их только шесть. Семен в отличие от дяди Левы был не только часовщиком, но и спекулянтom. Поэтому они с Миррой приехали к нам на извозчике, что привлекло всеобщее внимание. Вскоре они переехали в три просторные комнаты пятикомнатной квартиры на Вяйке-Карья, 1 и, что было совсем уж немислимо, заказали всю мебель для своего жилища. В этот мебельный комплект входил, например, журнальный столик, столешница которого держалась на цифре 2 из красного дерева. Входили в него и комбинация широкого дивана с книжными полками, и хрустальная люстра, и многое другое. Нас пригласили полюбоваться этим великолепием. После этого визита я спросил маму:

- Скажи, они очень бедные?
- Почему ты так решил? – изумилась мама.
- Но у них же нет ни одной книжки!

У меня к этому времени была уже своя библиотека. Игрушек у меня было мало. Помню клоуна – чтобы залатать его прорванную красную рубашку, я вырезал кусочек ткани из атласного одеяла, сшитого маме с папой к свадьбе на подворье Пюхтицкого монастыря, которое мама берегла всю войну, как память о папе. Остальные игрушки не запомнились. А вот книжки мне дарили все. Причем с детской книгой тогда было плохо. И первой книгой в моей библиотеке, насчитывающей сейчас более 6 тысяч томов, стал том Пушкина издания Брокгауза и Ефрона, подаренный мне редактором газеты «Советская Эстония Даниилом Марковичем Рудневым. По этой книге я научился читать и прочитал первое в своей жизни произведение. В том входили и сказки. Полагаю, именно их Даниил Маркович имел в виду, когда дарил эту книгу. Но я увлекся вовсе не ими.

Первое, что я прочитал, был «Евгений Онегин». В четыре года я знал первую главу романа наизусть, и нередко, когда мы приходили в гости, меня ставили на стул и просили почитать Пушкина. Должен сказать, хоть это и нескромно, но делал я это с большим удовольствием. И не только потому, чтобы показать, какой я вундеркинд. Меня завораживала музыка пушкинского стиха, ибо многого в романе я по возрасту просто не мог понять. Тем не менее, кое-чему я пытался найти объяснение. Например, стих: «И, наконец, увидел свет...» я трактовал весьма своеобразно.

В первые послевоенные годы Таллин снабжался электроэнергией от городской электростанции, здание которой сохранилось до сих пор слева от горхолла. Станция была довольно мало мощной, и мощности ее не хватало. Электричество для бытовых потребителей строго лимитировалось. Наш лимит составлял 80 киловатт в месяц. При превышении его электричество отключалось. Но очень часто подача электричества прекращалась и независимо от этого. Отключение проводилось по подстанциям. Наш дом был подключен к одной подстанции с освещением под железнодорожным виадуком на улице Роху. Поэтому, если мы, возвращаясь зимними вечерами откуда-нибудь, а вечер наступал часа в четыре пополудни, видели, что под виадуком свет не горит, это означало, что и дома у нас света нет. И наоборот.

С этим и была связана моя трактовка стиха из «Евгения Онегина»:
- Онегин шел, шел по темному городу. И вдруг увидел, что под мостом горит лампочка. Он очень обрадовался, что увидел свет.

Но вернемся к нашим ...извозчикам.

Гужевым транспортом мы, мальчишки, все же пользовались. На углу улиц Мулла и Теллискиви вскоре открылся рынок. На его месте сейчас стоит Дом мебели. На рынок крестьяне привозили товар на подводах. Мы встречали подводы на подъездах к рынку и вскакивали на торчавший сзади телеги продольный брус. Иногда возница замечал это, и в воздух взвивался кнут. Но он редко достигал цели. Во-первых, возница использовал его скорее для устрашения, чем для наказания, а во-вторых, мы успевали соскочить с бруса до того, как кнут заканчивал описывать дугу.

За рынком город практически заканчивался. На улице Мулла за ним стояли еще три дома, в подвале одного из них находилась пекарня. Там пекли баранки. Мы готовы были часами стоять у окон этого подвала, вдыхая небывалый аромат, а уж вкуснее горячих баранок, которыми изредка одаривали нас пекари, и быть ничего не могло. С этой баранкой в зубах мы отправлялись на расположенный за пекарней пруд – наполненный водой котлован, который еще до войны вырыли для строительства дома. По этому «морю» на территории нынешней Пельуглиннаской поликлиники мы катались на плотках, один из которых представлял собой садовую

калитку, а второй – дверь. Между командами судов устраивались баталии, заканчивавшиеся нередко купанием в мутной водиче. Мокрая одежда снималась и расстилалась для просушки. А пока можно было заняться рыбной ловлей – в пруду водилась колюшка. Ловили руками.

Однажды мне таки удалось поймать две рыбешки и очень захотелось похвастать перед мамой с бабушкой своим уловом. Но смешно было тащить домой две дохлые рыбки величиной со спичку каждая. Поэтому я снял туфель, зачерпнул им воды и пустил в нее рыбок. Так торжествующий я шел по улице – одна нога обутая, другая в белом носке-гольфике. И именно в таком виде меня застучала мама, отпустившая меня погулять, пока она соберется, чтобы вместе со мной идти в гости. Рассказывать о ее реакции, полагаю, не надо. Хотя подозрения в том, что меня выпороли, должен отместить сразу и бесповоротно. Поскольку мужчин в доме, кроме меня, не было, то не было и порядочного орудия порки. Да и привычки к этому у моих старших не наблюдалось. Однажды бабушка, когда я уж очень нашкодил, решила меня серьезно наказать. Она взяла мамин соломенный плетеный поясok от платья и попыталась достать им мое мягкое место. Но я был уже по ту сторону круглого обеденного стола. После нескольких полных оборотов вокруг этого стола бабушка сменила орудие – она взяла половую щетку на длинной палке и стала тыкать ею через стол. Я тут же ухватился за густую щетину, и мы продолжали некоторое время вращаться, соединенные по диаметру щеткой. После чего бабушка, задыхаясь от смеха, повалилась на свой диванчик. На этом сеанс порки был завершен. И только один раз, когда лет шести от роду я произнес в присутствии гостей какое-то грязное ругательство, услышанное от мальчишек на улице, мама, вспыхнув, дала мне пощечину, совсем не большую, но очень обидную – ведь я и не подозревал, что совершаю что-то плохое. Потом, когда гости ушли, мы объяснились, и больше я при маме таких слов не произносил до конца ее жизни.

К 1947 году относится мое первое знакомство с табачным зельем. В доме 26 по нашей улице жила семья капитана 2-го, а потом первого ранга Фулика. В состав ее входили и мой сверстник Борька, и его старшая сестра Наташа, очень красивая девочка, в которую я тайно влюбился. Наташа, разумеется, никакого внимания на малявок не обращала, она крутилась в компании ребят постарше. И мне очень захотелось тоже стать старше. К этому времени у нас уже появился постоянный источник дохода – рынок. Он закрывался в три часа. И сразу же, еще до уборщиков, появлялись на нем мы. Под положенными у киосков решетками и под самими рыночными киосками мы собирали оброненные покупателями монеты. За один проход по рынку иной раз набиралось по восемь-десять рублей. Это равнялось трем билетам в кино и двум порциям мороженого или пачке папирос «Красная звезда» или «Север» (1 рубль 40 копеек) и четырем билетам в кино по два рубля.

Тогда еще ограничений на продажу табачных изделий детям не было и в помине. Поэтому мы покупали пачку папирос, но вставала проблема, где курить? Решали мы ее просто: либо в штабелях просмоленных шпал на проходившей совсем рядом железнодорожной насыпи, либо в подвале находившейся во дворе Борькиного дома столярной мастерской, куда через люк ссыпалась стружка от рубанков и фуганков. Как мы не подожгли ни просмоленные шпалы, ни эту стружку, остается для меня загадкой.

Скажем прямо, большого удовольствия от взрослой привычки я не испытал. Да и на Наташу никакого впечатления это не произвело. И через некоторое время я курить «бросил». До 11 лет, когда в пятом классе школы стал курить уже всерьез.

Школа

1 сентября 1948 года бабушка одела меня особенно нарядно, а мама повела меня в школу. Поскольку Эстонское телеграфное агентство, где работала мама, находилось в Старом городе, на улице Лай, 34, мама определила меня в школу с таким расчетом, чтобы по утрам отводить меня туда, хотя бы на первых порах. Таллиннская 24-я неполная средняя школа находилась на улице Кооли. Чтобы попасть в нее, надо было пройти через двор эстонской 1-й средней школы – нынешней гимназии Густава-Адольфа, вдоль крепостной стены Нижнего города, от которой веяло романтикой средневековья. А дорога в школу шла вдоль всего Тоомпеа (Вышгорода). Само здание школы тоже было историческим. В семнадцатом веке здесь располагалась одна из первых типографий. Для школы здание было не очень приспособлено. Сразу при входе тебя окутывало амбре от школьного туалета. Похоже, канализация сохранилась нетронутой примерно с того же века. Но нас это тогда мало смущало. Зато была широкая лестница с перилами, по которым можно было с немыслимой скоростью съезжать с этажа на этаж. В этой школе мне было суждено провести пять лет, пока ее не закрыли из-за антисанитарных условий.

Учительница мне понравилась. Мария Кирилловна Кикас была молодой и очень милостивой, а главное, доброй. У нее было двое сыновей, с младшим из которых Костей я вскоре подружился, причем вовсе не из меркантильных соображений. Костя учился на класс младше. В нашем же классе публика собралась весьма пестрая. Был, например, Толя Безыменский, которого в школу привозил папа на шикарной машине ЗИС 101. Были жившие в одном доме на Вышгороде Шейнин и Лонкин, чьи папы были офицерами. Был Жора Дрездов – сын погибшего на подводной лодке «Лембит» матроса. Был Рудик Россов – сын старшего лейтенанта НКВД и медсестры военного госпиталя. Была группа «завокзальных», каламаяских – Дима Рутенберг, Юра Долгих, Миша Анисин, были

сыновья учительницы, впоследствии преподававшей мне физику в 19-й средней школе Нины Ефимовны Глущенко, Вовка и Витька, причем Витька остался в первом классе на второй год. Все это были для меня в тот день лица незнакомые. А одно оказалось знакомым. В классе недоуменно озирался мой товарищ по детскому саду Вальдур Арет. Его присутствие меня чрезвычайно поразило, ведь я-то знал, что он по-русски не понимает ни слова. Его мама, чрезвычайно интеллигентная и деликатная женщина, объяснила моей маме, что решила отдать сына в русскую школу, потому что эстонский язык он и так знает, а знание русского очень поможет ему в жизни. Забегая вперед, скажу, что так оно и вышло. Вальдур стал доктором технических наук, работал ректором Кемеровского института технологии пищевой промышленности, ректором Центра морского образования в Таллине.

Но в тот момент на меня легла дополнительная обязанность – переводить ему, что говорит учительница. Мария Кирилловна с пониманием относилась к тому, что во время ее объяснений на уроке слышалось мое бурчанье. Вероятно, мой стаж синхронного переводчика можно отсчитывать и с 1 сентября 1948 года. Надо сказать, что дополнительная обязанность меня не очень обременяла. Хотя мама и не занималась моим системным дошкольным образованием, к моменту поступления в школу я свободно читал, довольно грамотно писал, без труда считал в пределах тысячи. В общем, в классе мне было делать нечего, и все предметы, за исключением чистописания, давались мне без малейшего усилия. А вот заставить палочки быть ровными мне не удавалось, как не удавалось и не поставить на странице хоть одну кляксу – ведь писали мы 86-ми перьями, и на каждой парте стояла чернильница, несправедливо названная «непроливайкой». Она еще как проливалась, надо было только правильно перевернуть ее. Домашние задания я обычно выполнял в школе, перед уроками. Мне хватало на это пятнадцати минут. Мама удивлялась, когда родители других учеников жаловались на родительских собраниях, что очень велики нагрузки и их дети не успевают сделать все, что задано на дом. Увы, у всего есть две стороны. Моя излишняя подготовленность к начальной школе приучила меня к лени, что впоследствии доставило мне немало неприятностей. И даже не только в отдаленном будущем, но и сразу. Ведь на уроках нужно было чем-то заниматься, и я находил себе занятие в виде разной шкоды. Например, очень интересно было бросить посреди урока в чернильницу кусочек карбида. Вонь по классу шла такая, что Мария Кирилловна выгоняла всех в коридор и проветривала класс. Что и требовалось. Бывала шкода и менее невинная.

Я уже упоминал о нашем начальном сексуальном образовании. Так вот, по дороге в школу, когда я уже стал ходить один, без мамы, наша компания, в которую входили Жора Дрездов, Вальдур, Рудик Россов и я, освоила такой маршрут: на виадуке на улице Роху останавливались для перевода стрелки

маневровые составы. Мы садились на подножку вагона и ехали до вокзала. Там было главным прошмыгнуть мимо контролера, ведь на вокзальный перрон пускали только по перронным билетам, стоившим один рубль. Их на выходе проверяли. Мы выходили через изогнутые нами же прутья ограждавшей территорию вокзала решетки. Оттуда мы в обход пруда Шнелли поднимались к Вышгородской стене, влезали на нее как заправские скалолазы, заходили за Шейниным и Лонкиным и вместе с ними продолжали путешествие по стене. Странно, что ни разу это не привело к падению. Сейчас я бы точно этот путь не повторил. На склоне холма в изобилии валялись использованные матросами презервативы. Мы подбирали их палочками в специальный мешочек, а в классе натягивали на чернильницу, стоявшую на учительском столе. Но этот прием мы практиковали только в случае, когда Мария Кирилловна заболела и ее замещал кто-нибудь другой. Как правило, при обнаружении столь странного для начальных классов предмета, не знакомая с нами учительница поднимала страшный вой и требовала, чтобы сей атрибут был немедленно выкинут в окно. Что и проделывалось нами с удовольствием. Но пока один из нас стаскивал продукцию Баковского завода резиновых изделий с чернильницы, другой натягивал дубликат на другую чернильницу, которая ставилась тихонько на учительский стол, а очищенная от скверны возвращалась на парту. Так продолжалось до тех пор, пока весь наш запас не оказывался исчерпанным.

Честно говоря, я не очень представлял, в чем прямое назначение этих предметов. И когда однажды мы с мамой подходили к дому, встретили родителей Рудика, разыскивавших своего сына. На вопрос, не знаю ли я, где он? я ответил честно: « У вокзала, гандоны собирает».

В третьем классе все наши геройства померкли. В класс пришел мальчишка в полной матросской форме и с лычкой старшего матроса на погонах. Это был юнга одного из катеров, базировавшихся в Минной гавани. Он был сиротой, старше нас на несколько лет и стал сыном команды катера еще в годы войны. У него даже была медаль за оборону Ленинграда. А вот с учебой у него были нелады. Мы дружно принялись ему помогать, а он организовал нам экскурсию в Минную гавань, куда посторонним вход был запрещен самым строжайшим образом. Надо ли говорить, как интересно было мальчишкам (школа-то была мужская, ведь Иосиф Виссарионович считал совместное обучение развратом) полазить по настоящему боевому кораблю!

Первые четыре класса я заканчивал с неизменными похвальными грамотами с портретами Ленина и Сталина. В пятом, когда начались физика и другие предметы, меня стала подводить привычка ничего не делать. В табеле появились четверки.

В это время мы освоили новые места развлечений. Первое из них – городская свалка, начинавшаяся там, где сейчас пролегла улица Сыле, и тянувшаяся до прибрежного леса Штромки. Кое-где она огибала огороды, служившие для нас источником гороха, брюквы, моркови и даже огурцов, сгрызаемых во время игр. Мы были почти единственными, купавшимися на Штромке. И мы точно были единственными, осмеливавшимися там копать в земле. А копались мы по весьма простой причине - лес был начинен последствиями войны. Мы находили ружейные и артиллерийские гильзы, а однажды, в мое отсутствие, мой одноклассник Толя Личков нашел самую настоящую мину. Из нее решено было выплавить тол. Мину сунули в костер. Надо ли говорить, какой был результат? Сам Толя отделался жуткими ожогами лица, а двух других мальчишек не стало. Патронами наши карманы были набиты всегда. Около вокзала, в вагонном парке, стояли пульманы, в которых во время войны перевозили боеприпасы. На полу этих вагонов была россыпь патронов. Мы устраивали в этих вагонах «самоварчики»: вытаскивали пули из десятка-другого патронов, высыпали порох на пол вагона, поверх этой кучки клали целые патроны, поджигали порох, а сами прятались под вагон. Вскоре начиналась пальба. Судя по дыркам в заборе, пули вылетали на бульвар, и наше счастье, что мы никого не убили. Попадался нам в вагонах и артиллерийский порох – макароны. Он очень красиво горел.

Другим местом развлечений стал канал теплой воды от электростанции. В нем и зимой водилась рыба. Ловили мы ее на самодельные удочки, состоявшие из орехового удилища, вырезанного на свалке, веревки, утащенной из дома, и крючка, согнутого нами самими из тонкой стальной проволоки. Пойманную салаку тут же нанизывали на прутик и жарили на костре. Это было необычайно вкусно, даже без соли.

Когда мама однажды разыскивала меня и наткнулась на улице на Рудика, он на вопрос, где я, не задумываясь, ответил: «Или на рыбалке, или на свалке».

Вот так, параллельно, проходило наше обучение и в неполной средней школе и в начальной школе жизни.

Пионерский лагерь

После окончания первого класса, летом 1949 года, меня отправили в пионерский лагерь в Вяэна-Йыэсуу. Вообще-то это был лагерь для детей железнодорожников, и как я туда попал, не знаю.

Лагерь был большой – на 600 с лишним человек. В первый же день нас взвесили. В ведомости против моей фамилии стояла цифра 18 кг. Девочек поселили на первом этаже, где все было нормально, а мальчишек отправили на чердак, где не было даже нормального пола, а просто были

настланы доски, ходить по которым надо было с величайшей опаской. Но все это была ерунда, потому что вокруг был сосновый лес, таивший неисчерпаемые возможности для игр, в нескольких сотнях метров шумело море, обрамленное пляжем с мелким, шелковым балтийским песком. Правда, в воду нас запускали по команде и только на десять минут. Но свежий сосновый воздух и постоянные подвижные игры делали свое черное дело – в нас проснулся аппетит. Дома меня накормить всегда было проблемой, и не потому, что я привередничал. Просто есть не хотелось. А тут чувство голода не покидало ни на минуту. Мы с трудом дотягивали от завтрака до обеда, а чаще, не дотягивали и бегали к кухне попросить у поварих хотя бы ломоть хлеба.

Родительский день – а он был один за смену, превратился в праздник обжорства. Автобусы тогда еще в Вяэна-Йыэсуу не ходили. Зато собственно в Вяэна была станция узкоколейки. И мамы, в том числе и моя, топали несколько километров пешком от станции до лагеря, чтобы увидеться со своими чадами. В этот день я впервые попробовал свежий абрикос. А июльские помидоры, которые стоили на рынке бешеных денег, с триумфом обменял у другого мальчика на бутылку лимонада. Но самым существенным были бабушкины пирожки. Мама только диву давалась, как я без всяких уговоров уплетаю все подряд.

Итог пребывания в лагере был, однако, печальным: при прощальном взвешивании против моей фамилии появилась новая запись – 16 кг.

В 1949 году в Эстонии началась массовая коллективизация. Чтобы понять, что это означало, надо на некоторое время забрести в дебри истории. Практически до 20-х годов XX века крупное землевладение было привилегией остзейских баронов- немцев. Основная часть эстонцев пребывала сначала на положении крепостных, потом батраков. Но с отменой в 1819 году в Прибалтике крепостного права, стали появляться и самостоятельные хозяева. Земля в Эстонии – леса да болота. Чтобы превратить участок земли в пашню, требовался невероятный труд, в том числе по дренированию. Даже небольшое поле пересекалось осушительными канавами, которые надо было все время поддерживать в порядке. Тот, кто читал «Правду и право» эстонского классика Антона Хансена-Таммсааре, имеет представление о том, какая это была каторга. Большие полевые массивы в несколько десятков гектаров были редкостью. Тут клочок поля, потом полоса леса, снова поле, болото, пастбище. Дом ставился так, чтобы оптимально было добираться до каждого уголка. Сформировалась хуторская система, при которой от хутора до хутора было несколько километров. Мне кажется, что именно она во многом сформировала национальный характер, немногословный (ведь общение было затруднено) и индивидуалистический. Здесь, как в русской деревне, всем миром на проблемы не наваливались, да и общинной практики в

Прибалтике не было. Каждый ковырялся на своем участке и лишь поглядывал, чтобы у соседа не оказалось лучше. Трудолюбия эстонцам и по сию пору не занимать. Без него было не выжить.

В 20-е годы, Эстонская Республика выкупила у баронов их мызы, а сами бароны в основном отправились на историческую родину. Среди них были потомки родов, сыгравших немалую роль в российской истории. На Сааремаа находится родовая усадьба Беллинсгаузенов, один из которых стал первооткрывателем Антарктиды, в Южной Эстонии похоронен в своей бывшей усадьбе военный министр и первый полководец российской армии, противостоявший Наполеону, незаслуженно обоганный советской исторической «наукой» Барклай де Толли, в Домском соборе в Таллине похоронен первый российский кругосветный мореплаватель Адам Крузенштерн, центр Лахемааского национального парка расположен на мызе Палмсе, принадлежавшей графу фон Палену – главе заговора против Павла 1. Этот перечень можно продолжать очень долго.

Часть мыз была превращена в государственные хозяйства, где велась селекционная работа. Большое количество земель было роздано участникам Освободительной войны 1918-1920 годов. Некоторое количество земли эстонские крестьяне, особенно на островах, получили в начале XX века, когда землю стали давать принявшим православие. Именно отсюда, например, у президента Эстонии Арнольда Рюителя, который родом с острова Муху, отчество Феодорович.

К установлению советской власти в 1940 году в Эстонии было примерно 150 тысяч хуторов. В среднем хутор имел несколько десятков гектаров земли, из которых на пашню и пастбища приходилась лишь небольшая часть, а остальное было занято лесом и болотами. Чтобы хутор был товарным, то есть давал возможность часть продукции продавать, нужно было иметь хотя бы полтора-два десятка голов скота. Развита была система кооперации, которая занималась переработкой продукции. Повсеместно действовала сеть маслобоек – «Мейе Рей», боен, колбасных цехов. Существовали и прообразы советских МТС – машинно-тракторных станций – кооперативы, дававшие напрокат технику.

Короче говоря, хотя жизнь эстонского крестьянина, а народ был в основном крестьянский и в городах жила очень не большая часть населения, была не из легких, но по уровню материального достатка не сравнимой с советской колхозной деревней.

По советским меркам, практически любой эстонский крестьянин, за исключением наемных батраков (впрочем, эстонцев среди батраков было немного, батраков привозили в основном из Польши) подпадал под категорию кулака. А, следовательно, заслуживал и соответствующего

отношения. Первая попытка ликвидации классового врага была предпринята, как я уже писал, в июне 1941 года. Именно она в значительной степени породила противостояние эстонцев советскому строю, столь трагически для народа проявившееся в годы войны. Неоправданные и жестокие репрессии заставили забыть о веках немецкого владычества и смотреть на нацистскую Германию как спасителя от советских ужасов. Тогда же, еще до войны, была сделана и первая попытка создать в Эстонии колхозы. Она результатов не дала.

Перед войной в Эстонии появилась фигура, о которой в советское время вспоминать настойчиво не рекомендовалось. Компартию Эстонии возглавил некто Сяре. До этого он был сотрудником Коминтерна. Работал, по слухам, в одной из европейских стран. Ему при подходе немецких войск к Таллину было поручено создание подполья и партизанского движения. Через несколько дней после полной оккупации Эстонии все базы и все подполье были уничтожены. Источником сведений о них стал первый секретарь ЦК КП(б)Э Сяре. Официально он, вроде бы, был расстрелян гитлеровцами. Но люди, сидевшие в Батарейной тюрьме, утверждали в разговоре со мной, что видели его во время расстрелов во дворе тюрьмы среди палачей в офицерской форме. Предполагается, что он был двойным агентом. Дальнейшая судьба Сяре, мне, во всяком случае, неизвестна. Сяре был ставленником лично Сталина, не доверявшего даже местным коммунистам, прошедшим через тринадцатилетнее заключение в тюрьме.

После Сяре партийную организацию Эстонии возглавил Николай Каротамм. Я много слышал о нем, когда бывал у тети Розы. Ее старший сын Адя, несмотря на свое вполне мелкобуржуазное происхождение, в юности ударился в левизну, уехал учиться в Париж, где спознал с местной лево настроенной молодежью, и вернулся в Эстонию убежденным коммунистом. Было ему в 1941 году двадцать три года. Войну он провел в Эстонском стрелковом корпусе Красной Армии, был корреспондентом дивизионной, а потом и корпусной газеты. Вместе с передовыми частями вошел в сентябре 1944 года в Таллин, и в лагере Клоога застал штабеля из человеческих трупов и бревен, облитых бензином – немцы бежали с такой поспешностью, что не успели их поджечь. За один день ликвидации лагеря там были убиты две тысячи евреев из разных стран Европы (не успевшие или не захотевшие эвакуироваться евреи Эстонии были уничтожены еще поздней осенью 1941 года. В декабре Гитлеру поступил от марионеточных эстонских властей первый среди оккупированных стран рапорт о полном уничтожении евреев). А всего в лагере Клоога нашли смерть 18 000 человек. И таких лагерей, по некоторым данным, на территории Эстонии было более сотни. В это время мимо вели колонну военнопленных немцев. Обезумевший от увиденного Адя вытащил пистолет, и если бы не мгновенная реакция редакционного шофера, выбившего у него из рук

оружие, быть ему и самому в лагере по приговору трибунала. Но шофер спас, и Адя после войны стал главным редактором молодежной газеты «Ноорте хяэль». В редакциях партийных газет заняли руководящие посты его соратники по фронтовой журналистике Арнольд Грен и Август Порк. Первый из них закончил карьеру в должности заместителя председателя Совета министров, министра иностранных дел Эстонской ССР и председателя ее Олимпийского комитета. Второй многие годы возглавлял в генеральском звании КГБ ЭССР. Пока Адя жил с родителями, я часто видел обоих его друзей там в гостях. Все трое очень высоко отзывались о Николае Каротамме. А мнение бывалых воинов для меня, мальчишки, было непререкаемым. Тем более, что у них были настоящие пистолеты. Адя даже давал мне поиграть своим трофейным «вальтером», предварительно вынув обойму, но все равно этим доводил чуть не до инфаркта не только моих маму с бабушкой, но и собственную маму.

Так вот, после войны прерванные ею планы коллективизации должны были быть воплощены в жизнь. Неожиданным препятствием на этом пути стало руководство Компартии Эстонии. Каротамм, впоследствии доктор экономических наук, прекрасно сознавал последствия коллективизации и для экономики Эстонии, и для настроения народа. На его стороне был и опыт первых колхозов, образованных в 1947 году. Я слышал разговоры взрослых, как в одном из таких колхозов близ Локса, лошади после одной колхозной зимы были доведены до такого состояния, что их приходилось подвязывать. Тогда председатель колхоза пошел на преступный и отчаянный шаг – он роздал лошадей колхозникам с условием, что они отработают на этих лошадях в колхозе определенное число трудодней, а в остальном могут использовать их в собственном хозяйстве. Через несколько недель лошадей было не узнать.

Но это сопротивление Каротамма и его единомышленников лишь оттянуло неизбежное. В Москве было принято решение о поголовной коллективизации. В Таллине провели пленум ЦК, на котором Каротамм был снят, и его место занял заведующий отделом пропаганды ЦК КП(б)Э Иван (Иоханнес) Кэбин. Он был родом из Сибири, высшего образования не имел, но преподавал некоторое время в Институте красной профессуры в Москве. Кэбин был очень интересным человеком, но о нем позже. Каротамма отправили в ссылку в Сибирь, одного из руководителей правительства республики старого революционера Хендрика Аллика посадили. И этим перечень жертв того пленума ЦК отнюдь не исчерпывается. Опасения Каротамма оказались пророческими. Последующие три года для сельского хозяйства Эстонии оказались кошмаром. Хотя, к чести Ивана Густавовича Кэбина, надо сказать, что он всеми силами старался смягчить эти последствия, не дать загубить все и окончательно.

Однако ассортимент и количество продуктов на Таллиннских рынках претерпели сильные изменения. Это сказалось и на нашей кормежке в пионерском лагере. Мои 16 килограммов веса оказались результатом большой политики, до которой мне тогда не было никакого дела. Но когда я стал осмысливать это, то получил первый урок того, что ты можешь не заниматься политикой, но политика обязательно занимается тобой. До второго, значительно более болезненного для моей семьи урока оставалось чуть более трех лет.

Потому что мы Сталина имя....

В те годы основной СМИ висел у нас на стене – одноканальный репродуктор, вещавший поочередно на эстонском и русском языках. Язык менялся, содержание нет, почти что независимо от передачи. День начинался со славословия великому вождю всего человечества и заканчивался им. Это буквально, потому что в одной из строф гимна Советского Союза, а ныне гимна Российской Федерации тогда пелось так: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Это уже гораздо позже Сталина заменили на партию – во втором варианте, тоже Сергея Михалкова. Этот бессменный автор бессменного гимна – ярчайший образец беспринципности и приспособленчества. Знакомые композитора Никиты Богословского – известного мастера розыгрыша рассказывали, будто именно на этом он построил свою очередную проказу:

После появления второго варианта гимна Михалкову позвонили домой. Собеседник отрекомендовался представителем управления делами Московской Патриархии и предложил поэту написать слова нового церковного гимна. Михалков с возмущением отверг это предложение – никогда коммунист не будет писать религиозный гимн.

- Но мы вам хорошо заплатим, скажем, 150 000 рублей, - соблазнял собеседник (сумма по тем временам фантастическая)

- Ни за что!

- Жаль, - сказал собеседник, - а в отделе пропаганды ЦК нам рекомендовали обратиться именно к вам.

- В отделе пропаганды, - переспросил Михалков, - тогда другое дело.

- Но нам нужно срочно.

И собеседники договорились, что гимн будет готов через несколько дней.

В назначенный день утром в квартире Михалкова раздался телефонный звонок:

- У вас готово?

- Конечно!

- Тогда сейчас к вашему дому подъедет машина с протоиереем ... (было названо имя), вы приедете к нам в управление делами, мы ознакомимся с текстом, и вы получите гонорар.

Через некоторое время к дому действительно подъехал черный ЗИМ, в котором сидел священник. Михалков сел в машину, и они поехали. Ехали довольно долго и подъехали к большому дому, поднялись на лифте, когда дверь лифта распахнулась, Михалков увидел на лестничной площадке Богословского в халате.

- Ах ты, мерзавец, - сказал с пафосом композитор, - на рюмку водки с хорошей закуской тебя месяцами не дозваться, у тебя времени нет. А писать церковные гимны за бешенные деньги, у тебя, коммуниста, время находится! Ну, и езжай обратно со своим гимном, чтоб я тебя больше не видел.

Правдива ли эта байка, я ручаться не могу. Но суть Михалкова она передает, как мне кажется, верно. И не только Михалкова, но и многих его молодых последователей, которые в мгновение ока переквалифицировались из воинствующих атеистов в истово верующих, из ярых проповедников идей всемирного коммунизма в столь же ярых антикоммунистов. И не потому, что изменились их убеждения, что вполне допустимо и заслуживает уважения, а потому что у них всегда было только одно убеждение – надо делать так, как велит вождь.

Именно на это была нацелена вся огромная пропагандистская машина времен моего детства. А детские души особенно податливы к такой массивной обработке.

Ни я, ни никто другой из моих товарищей не избежал воздействия пропагандистского монстра. Лет шести от роду я, росший без отца, задал маме сакраментальный вопрос: «Мама, если Сталин отец всех советских детей, значит он и мой папа?» Как я теперь понимаю, маме вариант отцовства Сталина пришелся не очень по душе, у нее в памяти был совсем другой. Но сказать ребенку, что Сталин – не его отец, было просто опасно, тем более, что вопрос был задан прилюдно. Мама усмехнулась и предложила поговорить на эту тему потом. А потом как-то к слову не пришлось.

Вообще отсутствие отца я очень переживал. Мы тогда не знали об обстоятельствах гибели папы. Более того, уже после того, как мама получила похоронку, приехавший в Чистополь на побывку папин родной брат Роби, служивший в республиканском штабе не существовавшего здесь партизанского движения переводчиком, заверял ее, что видел папу и тот жив и здоров. Вероятно, он хотел таким образом успокоить маму, вселить в нее надежду. Хотел как лучше, по словам Виктора Степановича Черномырдина, а получилось... Маме пришлось дважды пережить жуткие часы осознания, что папа никогда не вернется.

Но мне хотелось верить, и потому я придумывал самые разные истории о папином героизме и о том, как он сейчас выполняет очень важные задания самого Сталина.

В классе, кроме Жорки Дрездова, все были старше меня. Жорка оказался аж на целых десять дней младше. Поэтому, когда в октябре 1950 весь класс вступал в пионеры, мы еще возрастом не вышли. Но Мария Кирилловна добилась, дабы не создавать в классе париев, чтобы нас тоже приняли. Единственное, чем я отличался от своих соклассников, была прическа. В раннем детстве у меня были роскошные локоны. Но по правилам тех лет, у школьников должна была быть солдатская короткая стрижка – лучше под машинку, то есть под ноль, а в крайнем случае допускалась челка. Отчасти это было вызвано распространенным в то время педикулезом, который в нашей среде назывался просто вшивостью. Я пару раз даже приносил домой из школы в своей шевелюре эти шестивесельные баркасы, но после нескольких промываний керосином, они пропадали. Однако расставаться с волосами ни за что не хотел, и нашел в этом вольнодумстве поддержку у мамы. Она пришла в школу и имела довольно долгий разговор с директором – первый и последний за все время моего весьма среднего обучения. Директор как раз пришел новый, потом, когда его снимали, выяснилось, что у него четыре класса образования. Так что мама-журналистка с гимназическим средним сумела его убедить в том, что от моей нестриженности устои государства не пострадают.

Должен сказать, что дома «среди меня» особого идеологического воспитания я не помню. Единственное, что мне прививалось усердно, это навыки порядочности. Но у нас, мальчишек, были о порядочности свои, несколько не совпадающие с родительскими представления. Совсем не считалось грехом набить за пазуху зеленых яблок из чужого сада, стащить у соседки старый примус, чтобы сдать его на металлолом. Сдача вторсырья, наряду с монетами из-под рыночных киосков была важной статьей нашего дохода, особенно необходимого в тот период, ведь в кинотеатре «Партизан» пошли трофейные фильмы. Разве можно было удержаться, чтобы не посмотреть, и не по одному разу, четыре серии «Тарзана», «Маленькую маму», «Петера». На сеансах мы сидели, как замороженные. Нам не мешал даже лязг проходивших за стеной кинотеатра поездов – «Партизан» находился рядом с железнодорожным виадуком на углу улиц Ристику и Палдиски маантеэ. А после кино мы продолжали увиденное на экране в жизни. Во дворах всех моих товарищей на деревьях были оборудованы наши гнезда. Мы висели на ветках яблонь, испуская призывные тарзаньи крики, и хлопали себя по бокам, как обезьяна Чита. Мы даже похищали игравших во дворе девочек, затаскивая их на помосты на деревьях. Девочкам это нравилось. Нам тоже. Но и недавняя действительность нас тоже не отпускала. Мы, конечно же, играли в войну. Вырезали из горбылей, предназначавшихся для растопки, пистолеты,

винтовки и автоматы, из толстых сучьев – гранаты. Но в войну чаще всего играли не во дворе, а на свалке, где было больше простора. Ползали по кучам мусора, подкрадываясь к «вражеским часовым». Можно себе представить, как нас встречали дома после таких игр.

Забота о презентабельной внешности отнюдь не была в числе наших достоинств. Помню, как однажды мы с мамой зашли к ее коллеге и закадычной подруге Ренате Генриховне Айзенштадт, у которой был сын Саша, родившийся ровно через четыре недели после меня, один из самых близких друзей моего детства. Тетя Рената, как я ее называл, жила в крохотной однокомнатной квартирке на первом этаже дома номер 4 по улице Аэдвиля. Дом был построен в тридцатые годы, с центральным отоплением, и в квартире была даже ванная, хотя и с дровяной колонкой. Пока мамы собирались, чтобы вместе с нами отправиться гулять в Кадриорг, мы, взяв мяч, вышли во двор. Там мы немедленно занялись «волейболом» на куче угля, привезенного для котельной дома. Когда мамы вышли, нарядно одетые детки больше походили на маленьких чертенят. Нас вернули в квартиру и начали отмывать, но полностью ликвидировать следы угля на белых носках и светлых костюмчиках так и не удалось.

Рената Генриховна была родом из очень богатой семьи Гуткиных, которым принадлежал целый комплекс домов между улицами Виру и Вяйке-Карья. Отец Саши – Александр Григорьевич был из не менее известной семьи, которой, в частности, принадлежал особняк на Нарва маантеэ, в котором потом располагался Союз журналистов Эстонии. Сюда он переехал с улицы Пикк, поскольку прежнее здание союза, находившееся напротив башни Толстая Маргарита, было у него изъято для нужд КГБ – там разместилось городское управление этого учреждения. Впоследствии, в ходе реституции в начале 90-х годов, Саша оказался в числе правомочных субъектов реституции. Правда, полученным наследством он распорядился не очень удачно, и капитал отнюдь не приумножил, не в пример остальным наследникам.

Среди этих наследников был еще один человек, ставший легендой эстонской журналистики. Я увидел его впервые еще в 1945-м все в том же Кадриорге. Мы с Сашей играли возле лебединого пруда, когда беседовавшие на скамейке наши мамы позвали нас. Мы увидели рядом с ними высокого, худого как скелет солдата. Тощие ноги болтались в широких раструбах сапог, как языки колокола. Из-под пилотки торчала во все стороны шевелюра, по виду никогда не знавшая расчески. С неожиданной для этих живых мощей силой он поднял нас с Сашей на руки и посадил на свои плечи, при этом слегка подпрыгивая. Это был Ефим Зайдельсон, Фима. Фима пошел работать в ту же газету «Советская Эстония», где корреспондентом по культуре работала мама, а машинисткой Рената. Недавний солдат оказался удивительно талантливым

журналистом. Лучшие материалы газеты тех лет, бесспорно, принадлежали его перу. Так продолжалось до 1950 года. В том году Эстонской ССР исполнялось десять лет, и редактор Даниил Руднев поручил Фиме подготовить для юбилейного номера поздравления от известных людей. Только Фиме, который был не от мира сего, могло прийти в голову позвонить без санкции за границу. Причем не кому-нибудь, а руководителю Болгарии, герою Лейпцигского процесса Георгию Димитрову. Димитров плохо себя чувствовал и находился дома. Но на коммутаторе ЦК Болгарской компартии, услышав, что Димитрова вызывает Таллин, поняли услышанное не совсем правильно и, переключив вызов на домашний телефон Димитрова, доложили ему, что Димитрова вызывает Сталин. Разумеется, верный коминтерновец схватил трубку. Фима не дал ему опомниться, сам ошалев от радости, что удалось соединиться с таким человеком:

- Товарищ Димитров, Советской Эстонии исполняется 10 лет. Не хотите ли Вы поздравить эстонский народ с этим событием?

Вряд ли Димитров представлял, где это – Эстония и какой там народ, но бодрым голосом проговорил несколько приветственных фраз общего характера, что он от души поздравляет трудолюбивый эстонский народ, смело идущий вперед по пути строительства социализма. Или что-то в этом роде.

- Спасибо, товарищ Димитров, - произнес в трубку радостный Фима.
- Не за что, товарищ Сталин, - ответил Димитров.

И тут Фима произнес роковую фразу:

- Я не Сталин, я – Зайдельсон.

В трубке раздались гудки. Вероятно, Димитров был взбешен и тем, что принял какого-то Зайдельсона за самого товарища Сталина, и тем, что какой-то Зайдельсон осмелился звонить ему. Куда и кому он звонил после разговора с Фимой, неизвестно, но на следующее утро редактора вызвали в ЦК Компартии Эстонии. И там ему ласковых слов не говорили. В свою очередь, Фиме, помимо объяснений редактору, пришлось давать объяснения чекистам. Фиме повезло – его не арестовали и не сгноили в лагерях. Его просто уволили. *Такова легенда!*

Мне повезло дать прочитать ее герою – самому Ефиму Зайдельсону. И выяснилось, что все обстоит как в старом еврейском анекдоте: «Правда, что Рабинович выиграл в лотерею 100 тысяч? – Правда! Только не в лотерею, а в преферанс, и не 100 тысяч, а два рубля. И не выиграл, а проиграл». Молва не только искажила ход событий, но и объединила разделенные по времени годами. В Болгарию Фима действительно звонил, но на Первомайские праздники 1946 года. И действительно телефонист вместо «Таллин» расслышал: «Сталин». Но сам Димитров не мог

сомневаться, с кем он разговаривает, поскольку с охранившейся у Фимы расшифровке разговора четко значится, что в этом конце трубки редакция газеты «Советская Эстония». Димитров был достаточно умным человеком, чтобы не устраивать «скандала на людях» и честно поздравил эстонский народ с Первомаем. Что стало с перепутавшим Божий дар с яичницей телефонистом, мне неизвестно, но Фиме как раз за этот звонок ничего не было. А было Рудневу. Насколько Фима помнит, его даже вызывали на «ковер» в Москву. А Фимино увольнение последовало несколько лет спустя в результате доноса в партийную организацию о том, что Фима скрыл свое социальное происхождение. И хотя ничего Фима не скрывал, этого было в то время достаточно для исключения из партии человека, прошедшего всю войну, несколько раз раненного.

Фиму уволили и долго не брали на работу никуда. Чем он только в этот период не занимался. Несколько лет спустя, уже после смерти великого вождя и учителя всего прогрессивного человечества, с помощью все того же Даниила Марковича Руднева Фима стал работать в архиве. И в последующие десятилетия он работал архивариусом, а потом научным сотрудником архива, воссоздавая историю коммунистического движения в Эстонии в довоенные годы. Фиму с большим трудом женили, они с Леночкой народили сына Сашу и дочку Наташу.

Фима прочитал эту фразу и позвонил мне, что он очень ею огорчен – они с Леной до сего дня прожили в любви и согласии 58 лет, а я утверждаю, что его чуть ли не насильно женили! Я приношу Фиме и Лене свои глубочайшие извинения. Я имел в виду совсем не то, что действительно можно вычитать из текста, который я внимательно перечитал после разговора. Я был в то время ребенком, и самостоятельно судить о том, кого как женили, естественно, не мог. Моя чрезвычайно неудачная фраза связана с неоднократными рассказами двоюродной сестры Фимы – Ренаты Генриховны Айзенштадт, о том, что Фима был очень застенчив и деликатен. И вся родня с нетерпением ждала, когда же он сделает Леночке предложение, поскольку родственникам ситуация была ясна, и кандидатура Лены была ими единодушно одобрена. Они всеми силами подталкивали Фиму к «роковому» шагу. Именно это я и имел в виду, когда писал, что Фиму «женили с трудом». Но одно дело, что хотел написать. А другое – что написал. Поэтому еще раз хочу попросить у супругов Зайдельсонов извинения за причиненные им огорчения и за свой неуклюжий пассаж. И еще поблагодарить за то, что я получил возможность изложить не искаженную легенду, а реальные факты.

Жили Фима с Леной все годы очень трудно и бедно. А потом им в уже независимой Эстонии вернули когда-то национализированное имущество. Сейчас Фима с женой живет в Страсбурге, и о его жизни я знаю очень не многое по его редким телефонным звонкам и со слов его живущего теперь

в Берлине сводного брата Андрея, который моложе Фимы на двадцать с лишним лет и женат на подруге моей юности Гессе Зальцман.

Нет худа без добра. Звонок Фимы заставил меня гораздо внимательнее и требовательнее относиться к слову, которое, как известно, если вылетит, то может загадить весь колодец.

Фима был далеко не единственным, вынужденным покинуть газету в те годы. На пороге уже была кампания борьбы с космополитизмом, более известная, как «Дело врачей», печально сказавшаяся и на нашей семье.

Мама в то время уже работала старшим редактором ЭТА, а заведовал редакцией республиканской информации некто Пановский, довольно неприятный и невероятно болтливый человек. В журналистике он не смыслил ровным счетом ничего, а потому ходил целый день из кабинета в кабинет, высокопарно рассуждая на всевозможные темы. Я уже не помню точно, кто тогда возглавлял ЭТА – первый его послевоенный руководитель Альберт Августович Кейс или это место после смерти Кейса уже заняла его заместитель Кира Николаевна Сипягина. Но стало понятно, что от Пановского на этом месте толку мало. Его перевели заведовать фотохроникой, где нужно было быть не журналистом, а скорее администратором. Впрочем, они и там не изменил характера своей работы, только теперь ходил по кабинетам двух редакций. Встал вопрос о заведующем редакцией, в которой работала мама. Вся беда была в том, что должность заведующего была номенклатурной. Чтобы ее занять, надо было быть членом партии. Маме предложили эту должность с условием, что она подаст заявление в партию.

На свою беду, мама согласилась далеко не сразу. Ей претило вступление в партию из-за карьерных соображений. Но Кира Николаевна настаивала, убеждала, что никто, кроме нее, не сможет обеспечить хорошую работу редакции. С другой стороны, резкий отказ от вступления в партию в то время, особенно в журналистике, был чреват любыми последствиями. А на маминых плечах были бабушка и я. И мама сдалась. Она написала заявление о вступлении в партию.

Но тут грянуло дело врачей. Конечно, я в те годы газет не читал и мало что понимал. Просто в один прекрасный день я пошел в библиотеку, обменять книжки, договорившись с мамой, что она подойдет к библиотеке и мы пойдем гулять. Библиотека находилась в двух шагах от нас, на улице Ристикю, на первом этаже дома, в котором жил Вальдур. Я обменял книжки и вышел. На противоположном углу, у маргаринового завода, я увидел толпящихся людей. Из любопытства я протолкался сквозь толпу и увидел лежащую на земле маму. Вызвали скорую помощь, и маму увезли в больницу. У нее была тяжелейшая депрессия. В больнице она пробыла

несколько недель. А потом в сопровождении бабушки была отправлена в санаторий на Рижское взморье. Нет худа без добра, думаю, что ее отсутствие на работе по болезни в каком-то смысле спасло ее. Потом, когда я уже был постарше, мама рассказала мне, что тогда происходило. Ее вызвали к Кире Николаевне, и та сказала весьма сочувственно, что ни о каком вступлении в партию и заведовании редакцией в новой ситуации речи быть не может, хорошо, если маму не уволят. Мама понимала, что увольнение означает, что ни на какую нормальную работу ее вообще больше не примут. Она уже знала, что из редакции «Советской Эстонии» уволили другого талантливого журналиста Зунделевича, примерно в это же время ее двоюродного брата Адю выгнали с должности редактора газеты «Ноорте хяэль» и он, с чувством огромной и незаслуженной обиды уехал в город эстонских цементников Кунда, поступив на цементный комбинат простым рабочим. Правда, уже через несколько месяцев руководство комбината на свой страх и риск назначило еще недавно понятия не имевшего о цементном производстве человека мастером, а затем и старшим мастером. И так он дошел к моменту своей «реабилитации» до должности начальника цеха. Адя обладал действительно незаурядными организаторскими способностями. Это он доказал впоследствии, работая директором Эстонского радио и фактически воссоздав его заново. Он создал первый в системе Гостелерадио СССР вычислительный центр, он был основным организатором пресс-службы проходившей в Таллине в 1980 году парусной регаты Московской Олимпиады. И заново столь же незаслуженно погорел почти сразу после Олимпиады из-за товарищеского футбольного матча, по-моему, между командами радио и телевидения, во время которого на стадионе стали петь считавшиеся недопустимыми эстонские песни. Хотя Адя в то время вообще был в отпуске, его на Бюро ЦК обвинили во всех смертных грехах и с треском сняли. На его место поставили Аллана Кулласте - моего бывшего коллегу по комсомолу, который и в журналистике, и в работе такой сложной системы, как радиовещание, понимал столько же, сколько я в католическом богослужении. Но даже ему далеко не сразу удалось развалить то, что создавалось его предшественником.

Но Адя был один. Незадолго до этого, когда все были уверены, что вот-вот состоится свадьба и даже уже была готова заказанная к свадьбе мебель, он почему-то расстался с Валли Лембер, ставшей потом очень известной художницей под двойной – своей и мужа фамилией Лембер-Богаткина. Мама не могла себе позволить роскоши все бросить и уехать. Очевидно, насчет нее поступили и кое-какие более жесткие указания, чем не назначение на номенклатурную должность. Но пока мама болела и лечилась, сначала в больнице, а потом в санатории, о них забыли. Редакцию возглавил бывший командир взвода артиллерийской разведки Валентин Михайлович Кубарев, до того работавший корреспондентом в мамином подчинении.

Об этом человеке я еще расскажу подробнее, а пока хочу сказать несколько слов о Кире Николаевне Сипягиной. Есть такая знаменитая картина Репина «Заседание Государственного Совета». Среди сенаторов великий художник изобразил и князя Сипягина. Кира Николаевна была его внучкой. Ее маленькой девочкой родители отправили из Петербурга на лето вместе с бонной – эстонкой отдыхать в Эстонию, на родину бонны - фройлен Ильвес. А тут навалились революция, немецкая оккупация, создание независимой Эстонской Республики, между Петербургом и Таллином пролегла граница, через которую было не перейти, и даже разузнать о судьбе дочери Сипягиным не удалось. Девочка выросла на попечении своей бонны. И до последнего дня Кира Николаевна заботилась о почти уже выжившей из ума старухе. Та еще при мне работала в ЭТА курьером и уборщицей, потешая нас, молодняк, своими странностями. Например, она ничего не выбрасывала, любой хлам несла домой. Говорят, она хранила на столе распиленное засохшее дерево, которое когда-то росло на могиле ее родителей. Сейчас я понимаю, что это было следствие тех страшных и голодных лет, когда она, так никогда и не обретшая собственную семью, почти девчонкой оказалась один на один с жизнью с чужим ребенком на руках.

Вместе с Кирой Николаевной в ЭТА работала ее подруга с детских лет Екатерина Выборова, старая дева. Она руководила бюро переводов. Кира Николаевна побывала замужем за известным переводчиком с эстонского на русский, родила от него сына, доставлявшего ей практически одни неприятности. С мужем она разошлась. И в агентстве поговаривали, что она живет с Выборовой. Весьма вероятно, это была просто гадкая сплетня. Но в характере Киры Николаевны очень сильно проявлялось мужское начало. Когда я дошкольником увидел ее впервые, она ходила в шерстяной гимнастерке и хромовых сапожках. Мне это показалось верхом элегантности. Голос у нее был низкий. Говорила Сипягина очень решительно. И при всем том, должен сказать, что это был человек большой души. Хотя в то время начальнику сохранить в себе человеческое начало было совсем не просто.

Первого руководителя ЭТА Кейса я помню плохо. Это был высокий, очень представительный мужчина. Мама рассказывала, как однажды он вызвал ее и сказал:

- Из Москвы поступило важное задание. Нужно написать об эстонской литературе. Рассказать о писателях, их произведениях, над чем они сейчас работают.

- А каков объем? – спросила мама. Ведь размеры материалов журналиста-информационника и тогда, и сейчас были жестко лимитированы.

- Как обычно, полстранички, - не задумываясь, ответил Альберт Августович.

Как это можно умудриться сделать я понял в 1973 году, когда после ухода мамы на пенсию, занял ее место старшего редактора Эстонского телеграфного агентства и проработал в этой системе пятнадцать лет.

А в то лето 1952 года на время болезни мамы меня отправили на две смены без перерыва в пионерский лагерь под Локса. Это был лагерь Эстонского морского пароходства. Путевку в него достала мамина близкая подруга еще с довоенных лет, а впоследствии жена племянника моего отчима Лия Эренштейн. Она работала музыкальным руководителем в Таллиннском мореходном училище, имея на иждивении больную маму и сестру – полного инвалида. Директором лагеря на то лето была назначена ее коллега по училищу Линда Тюндер, годы спустя безуспешно преподававшая мне черчение в 19-й средней школе. Безуспешно – мне, ибо как в чистописании меня подводили кляксы, так в черчении – грязь, которую я разводил на листе ватмана.

Линда Густавовна была в лагере вместе с младшей дочерью, Элиной, на мой взгляд, очень красивой девочкой, к которой я неровно дышал. Впрочем, тогда – не к ней одной. Была в лагере девочка Лариса Шевченко с большими карими глазами, в которую были влюблены все мальчишки. Ей я написал первые в своей жизни стихи. Линда Густавовна, съездив в Таллин, привезла мне кулек ирисок «Кис-кис». И я написал Ларисе записку: «Ларис, хочешь «кис-кис»?»

Лагерь был хороший. Пароходство было организацией богатой. Кормили здесь хорошо. На холме стоял трехэтажный дом, от него спускалась дорожка к реке. Слева от этого здания находился домик сторожа. Как его звали, не помню, но он был всеобщим любимцем. Однажды он взял меня и еще одного парня – Борьку Казьмина, чемпиона лагеря по плаванию, впоследствии мастера спорта СССР по борьбе, на ночную рыбалку с острогой. Мы сели в плоскодонку, он разжег на носу лодки костер, и мы поплыли. Мне с Борей сторож доверил весла, а сам он стоял на носу с острогой. Тогда еще рыбоохраны не было. И вдруг, молниеносным движением он метнул острогу, а потом медленно стал вытаскивать ее. На крюке бился лосось килограммов на десять. Этого лосося сторож засолил и угостил нас с Борей соленой лососиной. Надо ли говорить, как это было вкусно! Сторож рассказывал, что такие рыбины в этой речушке – не редкость. Самая большая, которую он добыл, тянула почти на 25 кг. Были ли это рыбацкие байки, одинаковые у всех народов, не знаю. Но ту огромную рыбину я видел собственными глазами.

На этой речушке я научился плавать. Она была мелкая, и нам не запрещалось купаться в ней. Но запрещалось близко подходить к одному месту. Там был омут. Точнее, просто яма. Естественно, нас тянуло именно

туда. И как-то, когда я стоял на берегу около этой ямы, кто-то решил поугагать меня и слегка толкнул в спину. Я потерял равновесие и бухнулся в омут. В испуге забил руками и почувствовал, что моя голова уже на поверхности. После этого я, ничего не боясь, плывал по речке вдоль и поперек. И однажды заплыл в густые водоросли. Я почувствовал, как они опутывают руки и ноги, причем тем крепче, чем больше я барахтаюсь. Я мотнул головой, и она тоже ушла под воду. Я чувствовал, что тону. Не знаю, какой инстинкт подсказал мне нырнуть поглубже. Я освободился от пут и проплыв под водой еще с метр вынырнул на чистом от водорослей месте.

На той стороне реки были очень змеиные места. Но там была и малина. Желание полакомиться заставляло превозмочь страх перед пресмыкающимися. А потом мы к ним привыкли. И даже ловили змеюк. Я один раз босиком чуть не наступил на гадюку – она разлеглась на солнышке прямо посреди лесной дороги. Когда она зашипела, я застыл на одной ноге. Когда я опустил вторую ногу, змеи уже не было. Тогда я, еще не знакомый с биологией, понял: змея на человека первой никогда не нападает, а ее шипенье – это просто сигнал «Я здесь, осторожно!». Не могу сказать, чтобы с тех пор я полюбил эту разновидность животного мира, но сильно бояться перестал.

Все было в лагере хорошо, кроме одного. Я впервые оказался в отрыве от семьи на столь долгий срок. Я мучительно завидовал Элине, рядом с которой была мама. Особенно тяжело было в родительский день, когда ко всем приезжали родные. И хотя Линда Густавовна пыталась меня как-то приласкать, я оба родительских дня убежал в лес и никого не хотел видеть. Я чувствовал себя забытым и никому не нужным. И хотя я понимал, что мамы с бабушкой просто нет в Таллине, было очень горько и обидно. В один из родительских дней меня все-таки вытащили на какое-то время из леса. К одному из солагерников родители приехали на машине. Это была трофейная БМВ. Нас катали не только по лесной дороге, но и по шоссе, причем с ветерком. Машина развивала скорость, недоступную известным мне в ту пору «Москвичам», и даже «Победам» а точнее, советским копиям довоенных немецких Опель-Олимпии и Опель-Капитана.

В начале марта 53-го года, насколько мне помнится, весной еще не особенно пахло. Но в школу все равно идти не хотелось. Однако бабушка оказалась неумолима. Все мои попытки спать так крепко, чтобы не слышать ни будильника, ни ее окликов, как и последовавшие затем мои жалобы на головную боль – испытанное и уже годами проверенное средство выспаться утром – в этот день результата не дали. Я поплелся в школу. Обидно было еще то, что из-за собственной волюнки я опоздал на маневровый состав, обычно отвозивший нашу шарашку – Жору, Вальдура, Рудика и меня к вокзалу. Надо было топтать пешком, причем в одиночку.

На привокзальной площади, где стоял монумент Сталину, ставший в тот день памятником, была толпа народа. Многие женщины рыдали, даже у мужчин с планками боевых наград текли слезы. А из репродукторов на площади вновь и вновь раздавалось сообщение о смерти Сталина. В это невозможно было поверить, а главное понять, как же это страна будет существовать без того, кто указывал ей путь, кто все решал.

Я говорю это без иронии, потому что в незаменимости светоча всего человечества были уверены отнюдь не только мои ровесники. И слезы в глазах в тот день были у тех, кто собрался на привокзальной площади, искренними. Это были слезы не только скорби, но и растерянности – кончилась определенность. Впереди маячило неизвестное. Это потом выяснилось, что главным неизвестным оказалось наше прошлое. Но до приоткрытия завесы над ним были еще долгие для моего тогдашнего возраста три с лишним года. Три с лишним года спустя на этой же площади ранним утром, когда на улицах еще никого нет, спугнув голубей с бронзовой фуражки, гроыхая подъедет мощный гусеничный бульдозер, зацепит тросом постамент, и статуя в несколько минут окажется поверженной на землю, а затем нож бульдозера сравняет с землей и возвышение, на котором стоял памятник. Его место займет клумба, которая через несколько лет, в свою очередь, уступит место бронзовой группе авантюристов, которые за 40 лет до того, как стать бронзовыми, 1 декабря 1924 года, попытались по указанию и на деньги Коминтерна совершить в Эстонии государственный переворот. Когда в конце 80-х годов Институт истории партии при ЦК Компартии Эстонии попросил меня перевести на русский язык трехтомные «Очерки истории Компартии Эстонии» (перевод я успел сделать, но об издании этого капитального труда к тому времени уже и речи быть не могло, так что установленной договором платы за год работы я не получил до сих пор), я получил возможность довольно детально изучить реальную историю этого шумно прославлявшегося восстания, о котором моя мама вспоминала так:

- Утром мы пошли в школу, как обычно. А домой нас без родителей не пустили. Потом мы узнали, что днем где-то стреляли.

Из архивных документов я понял, что попытка мятежа была предпринята без всякого расчета на успех. На то были две причины. Первая заключалась в том, что мировая революция к тому времени как-то сама по себе сошла на нет, а Коминтерну политически была необходима демонстрация перманентности революционного процесса. С другой стороны, жизнь в Эстонской Республике начинала стабилизироваться, поддержка левых стремительно падала, катастрофически ухудшалось и их материальное положение. Нужны были деньги не только на деятельность, но и просто на существование. Но Коминтерн так просто денег не давал. Тогда руководство большевистской организации Эстонии убедило ЦК ВКП(б),

что оно в состоянии провести крупную акцию. Под нее деньги дали. Акция закончилась военно-полевыми судами, приговорившими несколько человек к расстрелу, а остальных к длительным срокам заключения. Из тюрем они вышли только в 1938 году, составив ядро той группировки, которая была поставлена у власти после «социалистической революции» 1940 года.

Признаюсь, как на духу, слез я не лил, к тому времени я уже плакал очень редко, но и меня охватили оторопь и какое-то горестное чувство. Однако в одиннадцатилетнем возрасте трудно надолго погружаться в скорбь из-за трагедий вселенского масштаба. Разумеется, об обычных уроках в тот день и речи не было. Но сорок пять минут панегирика отцу всех советских детей тоже не давали выхода бушевавшей в нас энергии. И она прорвалась. На перемене. Как только закончилось траурное построение, мы понеслись в свой класс. Вальдур с Юрой Долгих занялись игрой в фантики на широком подоконнике, а мы с Жоркой принялись гоняться друг за другом. В тот момент, когда я скакал по партам в попытке нагнать его и вернуть полученный подзатыльник, в класс вошла учительница. Увидела открывшуюся перед ней картину и замерла при виде неслыханного кощунства. Потом, резко повернувшись, вышла, а еще через двадцать минут нас вызвали на срочно созданный педсовет. К счастью, среди учителей нашлись нормальные люди, сообразившие, что наше поведение не было демонстрацией врожденного диссидентства, а было обычным с точки зрения психологии поведением мальчишек в таком возрасте. Мы отделались выговором с формулировкой «за беготню по партам в день смерти товарища Сталина». Хотя это было не совсем точно – в день **сообщения** о смерти Сталина.

Семь лет спустя одна моя знакомая, известная тем, что проходила курс обучения в Тартуском государственном университете еще дольше, чем я, показала мне свой дневник того времени. Там были сочиненные ею в марте 1953-го стихи: «Кто сказал, что Сталина не стало? Этому вовеки не бывать! Просто это он прилег устало на свою походную кровать».

Поэтессы, как и английского филолога, из этой моей знакомой не вышло, поскольку главной ее отличительной особенностью было полное нежелание работать. Довольно эффектная внешность и пышный бюст позволили ей вскоре выйти замуж за вполне обеспеченного инженера и заняться своими туалетами и попытками перещеголять парижские салоны. От коммунистических идеалов она была так же далека, как Париж от гулаговских лагерей.

Страшную правду об этих лагерях мне предстояло вскоре услышать.

Отчим

В августе 1952 года мама взяла после санатория еще и очередной отпуск, и мы поехали в Пярну. Сняли за триста рублей на месяц комнатку на улице Айа, недалеко от моря. Это было очень не дорого. Комната, как и весь домик, сверкала чистотой. Постельное белье было накрахмаленное. И такой же чистенькой и накрахмаленной была хозяйка – вдова пастора, которую соседки почтительно называли фрау пасторин.

Это было очень хорошее лето. Вокруг была масса знакомых и малознакомых, но очень интересных людей. В Пярну приехал отдыхать племянник бабушкиной подруги милейшей Марии Яковлевны Лерман. Он был профессором Московской консерватории по классу фортепиано. Я подружился с его дочкой Таней, рыжей и очень веселой девочкой, которая была на два года старше меня. Благодаря ее папе мы стали загорать в дальнем конце пляжа, на полянке среди кустов, которая называлась «музыкальный тупичок». Рядом с нами на солнышке нежились тогда еще молодые, но уже лауреаты-скрипачи Леонид Коган и Эдуард Грач – двоюродный брат моей будущей первой тещи. Одной из постоянных тем их беседы был Додик. То и дело слышалось: Додик сказал то, Додик сказал это. Вдруг утром они дружно вскочили при появлении маленького, довольно кругленького человечка, шедшего в сопровождении мальчика чуть старше меня. Это и был Додик – великий музыкант Давид Ойстрах с сыном Игорем или Гариком. Я тогда мало что смыслил в музыке, хотя имя Ойстраха, конечно, было мне знакомо. По радио довольно часто передавали музыку в его исполнении. Он весело пожал руки своим молодым коллегам и очень почтительно поздоровался с известным эстонским фортепианным и супружеским дуэтом - Анной Класс и Бруно Лукком, потрепал по голове сына Анны Класс – моего ровесника и приятеля тех лет Эри Класса.

Из завязавшегося разговора выяснилось, что опоздание Додика к началу курортного сезона в Пярну вызвано его гастрольной поездкой в Бразилию, что тогда звучало если не небылицей, то уже сказкой – точно.

Мы недолго слушали разговоры взрослых, а потом втроем Гарик, Эри и я отправились осваивать новую игру. Орудия игры состояли из двух ракеток, меньше и легче теннисных, и обточенного куска пробки, в который были воткнуты разноцветные перья. Когда по этому куску пробки ударяли ракеткой, он делал поворот на сто восемьдесят градусов и летел к партнеру перьями назад. Разумеется, это был бадминтон. Только настоящий, каким его делали аборигены Южной Америки. Но это был не простой бадминтон. Это был первый в Советском Союзе комплект для игры в бадминтон.

Вскоре волан у нас уже довольно долго держался в воздухе. Давид Ойстрах, которому при покупке объяснили, как в эту игру играть, но

который никогда не видел, как в нее реально играют, подошел к нам посмотреть, как мы управляемся с ракетками. В это время к месту, где мы играли, подкатился человек явно не из музыкального тупичка, который с неподражаемым еврейско-одесским акцентом, обратившись к маэстро, спросил:

- Где вы купили эту игру-у?

- Далеко-о! - ответил ему в тон Ойстрах, которому язык его собеседника был отнюдь не чужд.

- Неужто в Одессе? – не унимался человек.

- Чуть дальше – в Буэнос-Айресе.

Человек отпрыгнул, как ужаленный. Кому он задавал вопросы, он понятное дело, не знал. Так, один еврей спросил у другого. Но говорить с евреем, который бывал в Буэнос-Айресе, было уже просто опасно.

Ойстрахи жили на улице Сеэдри – Кедровой. Снимали там две комнаты с верандой. Это была по тем временам неслыханная роскошь, Но Додик мог себе позволить платить по 700 рублей за месяц. На этой же улице жили и многие другие музыканты. Они же и переименовали улицу в ЦЕДРИ – Центральный дом работников искусств. По утрам Ойстрах репетировал на веранде. Поскольку летом хочется поспать, то мне приходилось комкать завтрак, потому что ко времени начала репетиции наша троица - Таня, Эри и я регулярно встречались у Ойстраховской веранды и даром слушали игру гения.

В конце своего пребывания в Пярну Ойстрах обязательно давал для жителей города бесплатный концерт, в котором участвовали и его верные адепты. И это было величайшим событием. В каком бы зале он ни выступал, а тогда в Пярну еще не было того театрального здания с большим залом, которое была построено в шестидесятые, если я не ошибаюсь годы, то концерты проходили либо в зале средней школы имени Лидии Койдула, либо в курзале, там яблоку негде было упасть. И еще потрясала тишина во время исполнения. А еще больше – реакция считающейся чинной и чопорной эстонской аудитории. Ни о какой сдержанности чувств и речи быть не могло. Ойстраха заваливали цветами. После окончания программы он еще с полчаса, если не больше, до полного изнеможения играл на «бис». Поскольку я тогда во время концерта стоял у самой сцены, я видел, как лицо его покрывалось каплями пота, как были напряжены все мышцы лица, каким титаническим трудом – и физическим, и интеллектуальным давалась гениальная легкость исполнения. Я - небольшой знаток музыки, и сам в жизни, кроме ща-бемоль, не мог взять ни одной ноты. Естественно, я не мог понять то, что ценил в игре Ойстраха меломан. Но льющаяся из-под его смычка музыка завораживала. Мне, жуткому непоседе, почему-то слушалось его, не шевелясь. В тот год он вывел на сцену и Гарика. Отец и сын Ойстрахи впервые играли дуэтом.

Среди отдохнувших в Пярну был руководитель Эстонской филармонии Гольдшмидт. Мама его хорошо знала, поскольку, как я уже говорил, сферой ее журналистской деятельности была культура. Гольдшмидт на отдыхе не только организовывал концерты Ойстраха и других отдохнувших в Пярну знаменитостей, но и был автором других интересных затей. Он договорился с местным рыбокомбинатом, который выделил шхуну-двадцатитонку для поездки на остров Кихну. Я отправился на шхуну с Таней и ее папой, а мама пришла сразу вслед за нами с красивым полноватым мужчиной в аккуратнейшем костюме, как будто только что от портного. Это был мой будущий отчим Макс Голомб, бывший таллиннский врач-стоматолог. Где и как они познакомились, я не знаю, но в то утро мама была очень уж оживлена, что вызвало у меня подозрения.

Впрочем, мне скоро стало не до них. Это было мое первое морское плавание на настоящем судне. Передо мной был не вид моря с берега, а вид берега с моря. Это было совсем другое. Мы с Таней носились по всей шхуне. Пытались даже влезть на мачту, но нам этого не позволили. А потом был остров. Нас встречали, на дребезжавшем грузовике привезли от порта в деревню. Там в народном доме состоялся концерт приезжих музыкантов. А затем был обед в том же народном доме. На столе дымились вареная картошка, грудками лежали на блюдах золотистые копченые и жареные салаки. Взрослые запивали это «картофельным соком» (о том, что это за напиток, если вы еще не догадались, я скажу позднее) и сладким, но хмельным домашним островным пивом. Пива я украдкой попробовал, и мне понравилось, но в основном все-таки пришлось пить не менее вкусное парное молоко.

К вечеру погода испортилась, и когда мы вышли в обратный путь, началась качка. Я старался не показывать взрослым, а тем более Тане, своих опасений, что наше суденышко, ложившееся то на один борт, то на другой, перевернется, но внутри посасывало. На палубе стало прохладно, да и брызгами обдавало, но уходить вниз не хотелось. Мы с Таней забрались внутрь лежавшего на палубе брезента и, поскольку нас начинало мутить, легли, так что торчали только наши головы. Проходившие мимо пассажиры отпускали шуточки, как я потом понял, в адрес раннего начала моей сексуальной жизни, и даже поздравляли Таниного папу с браком его дочери. Теперь-то мне ясно, что они были тоже еще те мореходы и им было не по себе. А шутками они пытались заглушить то же самое чувство, от которого посасывало внутри у меня.

Спокойно держалась только команда, явно посмеивавшаяся над страхами своих пассажиров. Высунув нос из-под брезента, я тоном знатока спросил у капитана, сколько баллов? Он посмотрел на волну и сказал: пять-шесть. Честно говоря, мне это тогда ничего не говорило. Сегодня я понимаю, что

это был хоть и не такой, как в ревуших сороковых, но все-таки настоящий шторм. Такую же волну я застал лет пятнадцать спустя на Онежском озере. И тогда были отменены рейсы всех теплоходов на подводных крыльях. Нам, группе молодняка из Москвы, Питера и Таллина, пришлось буквально штурмом брать на Кижях один из немногих бескрылых теплоходов, решительно оттеснив группу французских туристов перенятым из баскетбола методом зонной защиты. Как и когда французы выбрались с Кижей, осталось для нас тайной, но на наш теплоход их уже не взяли, поскольку он был загружен до предела.

С того дня Макс утром заходил за нами – он снимал комнату неподалеку, и мы отправлялись на пляж. С появлением Макса пляжные бутерброды сменились обедом в Раннахооне – шикарном ресторане прямо на пляже. Это здание было построено еще до войны и напоминало корабль. Его огромные окна открывали вид на весь пляж и море. Единственное, что было неприятно, так это необходимость одеваться, чтобы пообедать. В плавках и купальниках в ресторан тогда было ходить не принято, даже днем. Моим любимым блюдом была жареная утка. Оно было и самым дешевым. Обед на троих обходился Максиму в двадцать два-двадцать три рубля. Он мог себе это позволить. Иногда вечером он приходил с бутылкой хорошего по тем временам вина, и они с мамой отправлялись куда-нибудь в гости, предварительно уложив меня спать или взяв обещание, что я лягу не позднее одиннадцати часов. К уходу мамы я относился спокойно, потому что из Таллина был взят запас книг. Но к чему идет дело, я явно не понимал.

Настала пора рассказать о том, кем был доктор Голомб. До войны он был практикующим врачом в Таллине, причем окна нашей квартиры на Теллискиви выходили прямо на окна его бывшего кабинета, который находился в соседнем, 32-м доме, где, как и до войны, располагалась амбулатория. В 1941-м его вместе с поликлиникой эвакуировали в Ульяновск. Молодой красивый врач и в Таллине пользовался немалым успехом у дам. В этом отношении война мало что изменила. Даже наоборот, поскольку мужчины его возраста в тылу скоро стали редкостью. С одной из своих очередных пассий, имени которой я называть не хочу – она стала довольно известным в Эстонии человеком, а еще более известны ее дети, которым совершенно незачем испытывать муки совести, да и, доказательств, кроме рассказов Макса, у меня нет, отправился в музей Ленина. Выходцы из Эстонии слишком недолго прожили при советской власти, чтобы научиться держать язык за зубами. И вот, увидев на стенде фотографию семьи матери Ленина, Макс при этой даме заявил, что точно такую же фотографию он видел в альбоме своей бабушки. Это была совершеннейшая правда, потому что, как и мадам Ульянова, его бабушка носила в девичестве фамилию Бланк.

Утром за ним пришли. Он получил 10 лет по статье 58 часть 10 – контрреволюционная пропаганда и агитация и был отправлен поначалу в Акмолинские лагеря в Казахстане. Спасала его, и не раз, профессия врача. Его не отправили ни на рудники, ни на другую работу того же рода, где зеки дохли, как мухи. Он стал врачом лагерной больницы. И даже начал писать диссертацию о дистрофии. Благо материала было на сотни диссертаций. Бумагу он выменивал на свою пайку хлеба, и вскоре сам оказался на грани полного истощения. Не было счастья, да несчастье помогло. При очередном шмоне в лагере его записи были обнаружены и уничтожены, а его самого отправили еще дальше – к Байкалу. В Михалевские лагеря. Впоследствии они стали называться Братскгэсстрой. По рассказам Макса, это был одноэтажный город со стотысячным населением, состоявшим вперемешку из уголовников и политических. Делалось это специально, блатные политических ненавидели и регулярно устраивали резню, помогая государству избавиться от «врагов народа». Уголовники царили в лагере. Их «бугры» жили, ни в чем не нуждаясь. На все «блатные» работы назначались те, кого указывали «бугры». Макс рассказывал, как в лагерь строителей Братской ГЭС приехали с шефским концертом артисты Большого театра. Не успели они выйти из автобусов, как пропали все их вещи. Разумеется, о концерте и речи быть не могло. В лагере устроили шмон, но ничего не нашли. Из Москвы срочно прилетел начальник ГУЛАГа генерал-полковник Бурдаков. После еще нескольких безуспешных попыток найти вещи известных на весь мир артистов Бурдаков вызвал к себе главного «бугра».

Разговор их проходил примерно так:

- Верните вещи!
- Ничего не знаем, гражданин начальник.
- Перестреляю всех!
- Да не видали мы этих вещей.

Наконец, генерал сдался:

- Ладно, какие ваши условия?
- Десять человек комиссуешь, гражданин начальник, поищем. (Комиссовать – означало направить на медицинскую комиссию, которая признала бы дальнейшее пребывание зека в лагере невозможным по состоянию здоровья).

И грозному Бурдакову, хозяину жизни миллионов людей, ничего не оставалось, как согласиться на эти условия. Макс был членом медкомиссии, признавшей по приказу безнадежно больными десять совершенно здоровых бугаев – убийц и грабителей. Как только документы на эту десятку были оформлены, все вещи артистов оказались лежащими в автобусах в том же порядке, в котором были до пропажи. Состоялся ли концерт, я не знаю.

Любимым развлечением блатных была игра в карты. Играли на людей. Проигравший должен был убить поставленного на кон человека. Однажды Макс проходил мимо такой группы картежников, и один только что прибывший в лагерь урка, не знавший, кто он такой, поставил на кон Макса. И проиграл. Урка вытащил нож и пошел за Максом. Но не дошел – был зарезан своими партнерами по карточной игре. Врач в лагере был для зеков фигурой неприкосновенной. Поднявший на него руку был обречен.

Рассказывал Макс и историю барельефа Сталина, высеченного на скале над Байкалом зеком с обмороженными руками – этот барельеф был ценой его свободы.

После того, как Макс отбыл в лагерях десять лет, от звонка и до звонка, ему объявили, что ему запрещено проживание в крупных городах, и вообще было настойчиво рекомендовано не искать постоянное место жительства за пределами города Ангарска. Он стал в качестве вольнонаемного главным врачом лагерной больницы. С огромным трудом он выпросил разрешение провести отпуск на своей родине – в Эстонии.

Все это и многое другое рассказывалось не сразу, малыми дозами, только когда никого из посторонних не было и вполголоса. До доклада Хрущева на XX съезде КПСС мы тогда еще не дожили.

Можно представить себе реакцию на все это тринадцати - четырнадцатилетнего мальчишки, только что вступившего в комсомол и безусловно верившего, что советская власть – самая лучшая в мире. Рушился мир, в котором он жил, рушилось все, во что он верил.

Я кричал Максиму в лицо, что он врет, что этого не может быть. Он только грустно усмехался. Я до сих пор чувствую свою вину перед этим человеком, которого оскорблял только потому, что он говорил правду, не уместившуюся в рамки привычных для меня понятий.

Осенью 53-го я не вернулся в прежнюю школу – ее закрыли. Меня перевели в 12-ю семилетнюю школу на улице Эндла. Сейчас там языковой центр. Туда же перешли Жорка и Вальдур. Поскольку за железной дорогой, там, где сейчас торговый центр Кристине, начинался городок финских щитовых сборных домиков, в которых жили семьи офицеров, а больше русских школ в округе не было, наша школа оказалась смешанной. В шестом классе у нас поначалу была одна девочка – Галя Кардаева. Потом появились еще несколько. Не могу сказать, что их присутствие оказало положительное влияние на степень примерности нашего поведения. Мы выпендривались перед ними, как могли. Я был в классе самым маленьким и самым хилым. Так что мне приходилось прилагать двойные усилия, чтобы девочки обратили на меня хоть какое-то внимание. Одноклассники

подавляли мою чрезмерную активность тоже весьма активно с помощью физического воздействия, не опасаясь получить сдачи. Но все-таки, не проходило дня, чтобы мы чего-нибудь не учудили. Зимой в восемь утра, когда начинались уроки, было еще совсем темно и мучительно хотелось спать. Выход был вскоре найден. На потолке класса были восемь ламп в почти сферических матовых стеклянных абажурах. Когда учительница входила в класс, все лампы лили яркий свет на наши сонные головы. Но через несколько минут они начинали гаснуть одна за одной. И класс погружался в полную темноту. Естественно, учительница начинала бить тревогу, вызывался школьный электрик, который часа два проверял все предохранители и цепи. И ничего не находил. Что все восемь лампочек одновременно перегорели – ему и в голову прийти не могло. И он был прав. Лампочки были целы. Все дело было в промокашках из наших тетрадей.

Физика начиналась в пятом классе, и первой шла механика. В пятом классе мы постигали законы Архимеда и Ньютона. У нас законов Ньютона было гораздо больше, чем сформулировал ушибленный яблоком англичанин. Например, пятый закон Ньютона гласил: не писай против ветра. Шестой: как бы ты ни тряс, последняя капля все равно упадет в трусы. И так далее. В шестом классе мы приступили к изучению электротехники. И не замедлили применить свои теоретические познания на практике. Поскольку вода является хорошим проводником электрического тока, а голубые и розовые промокашки в наших тетрадях были предназначены для впитывания излишней влаги чернил – появившимися в то время шариковыми карандашами нам писать категорически запрещалось, чтобы не портился почерк и соблюдались правила нажима, что, правда, мало сказало на разборчивости наших записей в тетрадях, - мы сообразили, что пропитанный водой обрывок промокашки вполне способен не стать непреодолимым препятствием для поступающего в лампочку электричества. Но каким-то сопротивлением он все же обладал. А посему тем же током должен был нагреваться. От нагревания же, как нам уже было известно из курса механики, вода испаряется. Следовательно, промокашка высыхает. А высохшая промокашка превращается в изолятор. И ток перестает идти. Весь вопрос был в том, через какое время это произойдет? И мы от теоретической физики перешли к экспериментальной. Несколько опытов, поставленных после уроков, за час между первой и второй сменами, дали нам искомое время – пять – семь минут. И наработанная технология пошла в серию, блестяще подтверждая известное высказывание великого Сталина: теория без практики – мертва.

Секрет нашего изобретения так и не был раскрыт до окончания нами школы.

Но изобретение не было единственным. С ростом разнообразия предметов по мере нашего перехода из класса в класс, росла невозможность выучить

все, что надо, не ущемляя наших коренных интересов в играх и развлечениях. Поэтому все большую роль начинала играть подсказка. Приемов для ее осуществления было несколько. Самый примитивный – шепот с первой парты быстро пресекался. Поэтому для подсказки стал использоваться один из нас, по очереди отсутствовавший на уроке. Собственно говоря, отсутствовал он только по отметке в классном журнале. На самом деле он лежал с учебником в руках под лестницей. Дело в том, что классная доска была подвешена на стене довольно высоко, чтобы вся ее поверхность была видна и с последней парты. Что было разумно. Но чтобы работать у доски, нужно было подняться на помост шириной во всю доску с тремя ступеньками. Под помостом было сделано нашими руками электрическое освещение, снаружи абсолютно не заметное. Были просверлены со стороны, обращенной к доске, и отверстия для поступления воздуха. Дежурный подсказчик ложился под помост и оттуда диктовал все, что было необходимо. Правда, к идее помоста мы пришли не сразу. Сначала в таких же целях и примерно таким же образом был оборудован шкаф, в котором хранились наглядные пособия – тогда кабинетная систем еще не практиковалась. Одно из отделений шкафа было освобождено от всякой рухляди, и дежурный подсказчик сидел там. Но высидеть в шкафу, согнувшись в три погибели, 45 минут было нелегко. Поэтому начались поиски альтернативного варианта, увенчавшиеся уже описанным выше. По результативности для отвечающего и непостижимости для учителей они были примерно равны. Даже если учительница и слышала какое-то бормотание, то не могла понять, откуда оно исходит. Взрослые, как правило, не могут постичь безумное буйство подростковой фантазии. Но был еще один момент. Не хочу порочить своих учителей, воспитавших у меня стойкое отвращение к школе, но многих из них мы по интеллектуальным способностям превосходили.

Дело в том, что в 12-й школе большую часть учителей составляли не профессиональные педагоги, а жены офицеров, которых надо было как-то трудоустроить. Нашим классным руководителем была Сира Николаевна Дудина, преподававшая историю, а в седьмом классе - и конституцию СССР, то есть то, что сейчас называется общество- или граждановедением. По истории она добросовестно излагала нам учебник истории СССР, согласно которому движущей силой цивилизации была классовая борьба. История в таком изложении была до невозможности скучна, и наше обучение в основном заключалось в зазубривании дат правления царей, войн и битв. Эти даты я помню до сих пор, а вот что касается истории после царства Урарту, то ее я знаю исключительно по книгам, которые впоследствии прочитал сам, и по изучению в университете истории русской и зарубежной литературы, в частности по блестящим лекциям о России девятнадцатого века, которые читал нам Юрий Михайлович Лотман, о котором речь впереди.

Как только Сира Николаевна открывала рот, я начинал задавать вопросы, включая и те, которые предполагали не вполне политически деликатные ответы. Особенно я лютовал на уроках конституции. Сира Николаевна вынуждена была объяснять классу почему самой демократичной считается конституция, при которой в органы власти выбирают депутата из числа одного кандидата, почему одна партия - хорошо, а много партий – плохо? И так далее.

В этом деле мне активно ассистировали несколько ребят. Среди них явно выделялся интеллектуально пришедший в седьмой класс новичок – Саша Бибичков. Он приехал в Таллинн из Улан-Удэ, где его отец Михаил Львович Бибичков занимал пост министра коммунального хозяйства Бурятии. В ходе кампании по борьбе с космополитизмом, которая до Забайкалья дошла с некоторым опозданием, его тихо сняли и отправили в Эстонию, где он руководил строительством Маардуского химкомбината и Кундаского цементного завода. Потом у него и здесь начались неприятности, и последние годы до выхода на пенсию он возглавлял «Эстонэнегоремонт», предприятие, занимавшееся ремонтом энергетического оборудования, в том числе и уникальных сланцевых котлов Прибалтийской и Эстонской ГРЭС.

Михаил Львович, маленького роста, чуть полноватый, совершенно лысый был человеком занятым и замкнутым. В часы отдыха обожал играть в преферанс. Поскольку взрослые партнеры собраться могли не всегда, он обучил преферансу Сашу и меня. Разумеется, ни о какой игре на деньги и речи быть не могло. Но азарт нас охватывал чрезвычайный. Я рос вообще картежником. В семь лет, наблюдая, как играют родственники, я освоил игру, которую они называли «кункен», что впоследствии оказалось искаженным английским «Who can?». Отчим и его друзья – юрист Александр Кан, инженер-строитель Мейер Генс, крупный организатор здравоохранения Аля Изрин со студенческих времен играли в бридж. Вертясь около карточного стола, я освоил и эту не уступающую по сложности шахматам игру, и меня даже стали сажать за стол, когда по какой-то причине не хватало четвертой руки – в бридж можно играть только вчетвером.

Преферанс показался мне несравненно проще. Когда отчим узнал, что я выучился и этой премудрости, он презрительно сказал про преферанс: «Идиотенбридж!», что означало: бридж для идиотов.

Перед тем, как раздать карты, Михаил Львович клал на стол небольшую салфетку, на которую ставили сэндвичи. На салфетке были отпечатаны 10 правил преферанса. Все я уже не помню, но некоторые в памяти запечатлелись: «Коль не с чего ходить, ходи с бубен!», «Нет хода – не вистуй!», «Смотри в чужие карты – в свои всегда успеешь!», «Дыми

больше – партнер дуреет!», «Злейшие враги преферанса – жена, скатерть и шум!»

У нас с Сашей жен не было, а жену Михаила Львовича Раису Александровну я никак не мог отнести к мешающим преферансу факторам. Раиса Александровна, во-первых, была добрейшим и радушнейшим человеком. Во-вторых, она делала замечательные сэндвичи, и не только сэндвичи. В-третьих, это была хотя уже и не очень молодая (на мой тогдашний взгляд), но очень красивая и яркая женщина. Высокая, статная, несмотря на полноту, с большими черными глазами, с удивительной плавностью движений, она убедительно доказывала один из неведомых мне еще тогда законов диалектики – противоположности притягиваются. Ибо была по всему, не только внешности, но и темпераменту, полной противоположностью Михаилу Львовичу. Саша был в нее – темноглазый брюнет с очень красивыми чертами лица. Впоследствии он пользовался бешеным успехом у прекрасного пола, но, как это часто бывает с записными сердцедами, женился в первый раз довольно поздно.

Несмотря на то, что через год мы оказались с Сашей в разных школах, наши пути еще не раз пересекались, а дружба между нами продолжается до сих пор, несмотря на то, что мы теперь еще и живем в разных странах – Саша в Москве, я – в Таллине.

В моей характеристике, выданной при окончании семилетки, Сира написала: «способный, но склонен к критическому мышлению». В те годы это считалось безусловным недостатком. И это критическое мышление было порождено уже описанными выше конфликтами с отчимом. Несмотря на крики «Не верю!» а ля Станиславский, рассказываемое им проникало в мой мозг все глубже и глубже и осмыслялось по мере моего взросления.

Семилетка тогда выпускала в жизнь. Всеобщего обязательного среднего образования еще не было. На работу четырнадцатилетних подростков, разумеется, не брали – эксплуатация детского труда советскими законами запрещалась. Неполных средних школ, однако, было гораздо больше, чем средних и чем техникумов на базе семилетки. Поэтому для большей части моих одноклассников оставался только один путь – в профессионально-технические училища, ПТУ, которые назывались просто «ремеслухами». У ремеслух была дурная слава. Хотя часть из них, как, например, расположенное неподалеку от моего дома, на улице Техника железнодорожное училище (во дворе его до сих пор стоит узкоколейный паровоз) давали среднее общее образование тоже.

...Давно уже в Таллине, да и во всей Эстонии не осталось узкоколейки. А я ее хорошо запомнил. В то время вокзала примерно там, где сейчас у начала

Кадрiorга стоит методистская церковь, уже не было, хотя здание его стояло. Пути к нему шли от вокзала Таллин-Вяйке по улице Везивярава и уже тогда сильно мешали нараставшему в городе автомобильному движению. А поезда отправлялись со станции Таллинн-Вяйке. Шли они на Пярну, Вильянди, Тюри, Рапла. Однажды мы с мамой поехали в Пярну не на автобусе, а на поезде. Он останавливался через каждые несколько минут. А поскольку перегоны были до крайности малы, то и набирать скорость он не успевал, а посему двигался не намного быстрее пешехода. Вокруг путей были цветущие луга, и один из наших соседей по лавке в игрушечном вагончике соскочил с подножки, нарвал букет цветов и спокойно вернулся в вагон. До Пярну, а это чуть больше 100 километров, мы ехали четыре с лишним часа. Зато вокзал в Пярну был тогда в самом центре города – там, где сейчас автобусная станция. Его убрали тогда, когда через Пярну проложили широкую колею на Ригу. Это было, если я не ошибаюсь, уже в шестидесятые годы....

На выпускном вечере наш директор Анна Емельянова разрешила выпускникам по полстакана красного вина. Сознание этого придавало нам взрослости, и мы тщательно готовились к вечеру. Школа была бедна, как церковная крыса. Насколько я помню, в учительской не было ни одного приличного стула. Поэтому родительский комитет решил, что хоть на один вечер надо создать в школе уют. Попросили привезти какую-нибудь мебель для комнат отдыха. Кресла привезли из дома Феде Гладкова, учившегося в параллельном классе. Его отец был не то полковником, не то подполковником. Столы, установленные в нашем классе, тоже были с борю по сосенке. Но никого это не смущало. Что было на столах, мне не очень запомнилось – мы были не слишком разборчивы в еде. А вот граненые стаканы, наполовину наполненные красным вином, помню, как сегодня. Наша подготовка к вечеру, в частности, заключалась и в том, что мы несколько дней не тратили собранные на рынке монеты. Даже курение ограничили. Впрочем, из нашей тройки – Вальдура, Жорки и меня, всерьез курил только я. Вальдур тогда уже серьезно занимался борьбой, имел второй разряд. Нашим кумиром был Вовка Ковалев, учившийся еще в 24-й школе двумя классами старше. Он к тому времени выполнил норматив мастера спорта СССР. Жорка был бессменным чемпионом школы в самых разных видах легкой атлетики. Один я к спорту до седьмого класса не имел никакого отношения. Даже, когда после уроков играли в футбол, мне за полной бесполезностью отводили роль судьи, которого, впрочем, никто не слушал. Вообще, мое физическое развитие оставляло желать много лучшего. Я был самым маленьким по росту и самым хилым. Что обеспечивало желающим полную безответность, а потому поощряло к издевательствам. Иногда все же доходило дело и до драки. Но когда мой обидчик лез на меня с кулаками, я вдруг представлял, что ударю и ему будет больно, и руки сами опускались. Правда, только у меня.

Однажды Вальдур подошел ко мне и спросил, не надоело ли мне быть объектом физического воздействия? – его будущая профессорская сущность уже тогда проявлялась и в манере выражаться. Конечно, мне это порядком надоело. И он предложил выход – начать ходить с ним на тренировки. Я согласился с некоторым страхом. Так я попал в секцию борьбы спортивного общества «Калев» к тренеру мастеру спорта СССР Борису Сюллусте.

Это был период расцвета вольной и классической борьбы в Эстонии. Еще в полную силу работали олимпийцы Коткас и Энглас. С чемпионата СССР эстонские борцы привезли шесть золотых медалей. Среди чемпионов СССР были Мыттус, Кашкин, Хельмут Пуур – брат прима-балерины театра «Эстония» Хельми Пуур. Они удивительно смотрелись вместе – тоненькая хрупкая Хельми и Хельмут. У борцов редко бывают рельефные мышцы, как у культуристов. Такие мышцы не способны к длительному напряжению, а восемь минут схватки на ковре требовали немалой выносливости. Но фигура Хельмута вполне могла считаться эталонной – широкие грудь и плечи с выпуклыми, но не узловатыми мышцами, узкие бедра, очень красивые и очень сильные руки и ноги, последнее очень важно для борца. И почти не заметны были неперенные атрибуты борца высокого класса – могучая шея и сплюснутые от трения о ковер ушные раковины. Короче, он не был киношным красавцем, но для нас он служил эталоном мужественности, как Хельми – эталоном женской хрупкости и грации.

Мне повезло видеть Хельми Пуур в «Лебедином озере». Я видел этот балет с великими балеринами Галиной Улановой и Натальей Дудинской. Только начинавшая карьеру балерины Хельми, может быть, уступала им в технике, но ее пластика, юность и чувство компенсировали это с избытком. К сожалению, она танцевала очень недолго. Падение во время спектакля и развившийся как следствие этого костный туберкулез вынудили ее покинуть сцену. Она стала балетмейстером-репетитором. Равной ей балерины эстонский балет не знает до сих пор. К искусству в младшем и среднем школьном возрасте меня активно приучала мама. Она покупала абонементы на лекции прекрасного ленинградского музыковеда Энтелиса, которые сопровождались выступлениями эстонских певцов и музыкантов, исполнявших произведения композиторов, о которых Энтелис рассказывал. Я помню первые спектакли только что народившегося Русского драматического театра Эстонской ССР, где играл, в частности, очень известный впоследствии актер Олег Стриженов. Помню концерт певца Николая Александровича, на котором «холодная» эстонская публика, чтобы попасть в концертный зал «Эстония», где он пел, снесла двери. Навсегда запомнились и спектакли Эстонского театра драмы с такими актерами, как Антс Лаутер, Антс Эскола, Юри Ярвет, позже Кальё Кийск, Эйно Баскин, Янус Оргулас. Я уже не говорю о театре «Эстония» с

такими замечательными оперными певцами, как Георг Отс (особенно в «Демоне»), бас Тийт Куузик, Георг Талеш, Мартин Тарас, Виктор Гурьев. Мама работала на всех певческих праздниках, она брала меня с собой и я мог с детства наблюдать за Густавом Эрнесаксом и другими выдающимися эстонскими хоровыми дирижерами. Причем не только за дирижерским пультом, но и в перерывах между дирижированием. В Доме композиторов проходили тогда первые исполнения новых произведений. Там я увидел Артура, Эугена и Виллема Каппов. И хотя я, как и сейчас, мало что понимаю в классической музыке, а в поп-музыке понимаю только то, что активно ее не воспринимаю, но слушать ее научился, и мне это даже нравилось.

Однако вернемся к моему вхождению в мир спорта. Тренировки оказались далеко не легким делом. Не могу сказать, чтобы я не был привычен к физическим нагрузкам. Ведь до 13 лет в доме, кроме меня мужчин не было. Уже лет с шести я был непременным участником перетаскивания в подвал заготавливаемых на зиму дров и торфяного брикета. Колоть дрова и приносить топливо в квартиру, то есть на второй этаж стало моей обязанностью лет с девяти. Помню, как один раз за всю историю моей учебы в школе к нам домой заявила моя классная руководительница Сира Николаевна, которую я на уроках доводил, как мог. Она пришла побеседовать с родителями хоть и способного мальчика, но ужасного хулигана. У меня сохранились странички из дневника за шестой класс. За одну неделю я умудрился получить 21 замечание типа: «Вертелся на уроке», «Не выполнил домашнее задание», «Бегал на перемене», «Забыл тетрадь по математике», «Прошу родителей придти в школу», «Во время урока сидел в шкафу» и т.д. Это был не тот дневник, который я показывал маме с бабушкой. Систему нескольких дневников мы освоили еще в четвертом классе. Один был для двоек и замечаний, второй для хороших оценок. Первый регулярно раздирался на клочья и спускался в канализацию. Была лишь одна трудность: в конце каждой недели требовалась подпись родителя в дневнике. Мы очень скоро научились так ставить подписи, что отличить их от оригинальных смог бы только профессиональный графолог. Причем, не только родителей, но и учителей. Поэтому учителям предъявлялся дневник со всеми замечаниями и двойками, аккуратно подписанный «родителем», а родители ставили свою подпись в дневнике, украшенном пятерками и четверками с отлично сделанными подписями педагогов. Я умудрился добиться того, что мама ни разу за все десять лет не узнала о том, что ее вызывают в школу. А такие вызовы вписывались в мой дневник в старших классах довольно часто.

И каково же было удивление Сире Николаевны, когда она застала меня только что притащившим дрова и топившим печку. В спальне лежала заболевшая мама, а бабушки не было дома – она ушла за покупками. К

чести моей не очень в целом умной классной руководительницы надо сказать, что у нее хватило такта не расписывать мои «художества» в школе. И я после этого старался не очень ее доводить своими выходками.

Самым страшным для меня на тренировке была разминка. Мои тощие ноги не выдерживали гусяного шага, шея подгибалась при попытках встать на мостик, а пресс категорически не желал поднимать лежавшие на мате ноги.

Но Сюллусте скидок не делал. В конце тренировки я чувствовал себя выжатым лимоном. Что это такое, я знал хорошо, хотя лимон в ту пору был редкостью. Тем не менее, мы очень любили этот цитрусовый продукт. Отнюдь не в чае. А на открытой эстраде в Кадриорге. Там всегда летом по воскресеньям играл духовой оркестр. Принарядившаяся гуляющая публика собиралась к началу концерта, не подозревая, что ее ждет. А во всем была виновата моя любовь к книге. В одной из них, по моему в романе Малышкина «Севастополь» я вычитал, как мальчишки там жрали лимоны во время концертов духового оркестра, и предложил применить полученные знания на практике, ибо, как говорил великий вождь и учитель: «Тэория бэз практики мэртва!» Результат был поистине ошеломляющим. Как только оркестр начал играть, мы с Вальдуром скромно усаживались сбоку в первом ряду и начинали сосать каждый свою половинку лимона. Ближе всего к нам сидела группа тромбонистов. Их партии были не основными, а потому они озирали публику. И тут замечали нас, сосущих желтую кислятину. Рот музыканта немедленно наполнялся слюной, а тут наступала его пора дуть в свою дуду. Вместо музыки из трубы доносилось что-то невообразимое. На это реагировали остальные музыканты, они смотрели туда, куда им как на причину своей беды указывали тромбонисты, и начиналась полная какофония, завершавшаяся тем, что оркестранты бросали свои инструменты и бросались в погоню за нами. Это была вторая серия нашего развлечения – нужно было во что бы то ни стало удрать от совершенно разъяренных «духачей» и не попасться и начинавшей соображать, в чем дело, публике. Встречались мы после этого обычно уже у Русалки – памятника погибшему со всей командой российскому броненосцу работы замечательного эстонского скульптора Амандуса Адамсона.

Лимон мы все же доедали, без сахара. Выжатая до последней капли кожура выбрасывалась. Меня после первых тренировок тоже можно было выбрасывать. Если я тогда не бросил это занятие, то только по двум причинам: во-первых, было стыдно перед Вальдуром, а во-вторых, в секции подобрался очень хорошие ребята. Мнение, что в борьбе главное – сила, соответствует истине с точностью «до наоборот». Я так никогда и не стал силачом. Схватка на ковре – это, в первую очередь, игра ума, способность проникнуть в мысли и намерения соперника, угадать их и принять соответствующие меры, не давая ему в то же время проникнуть в

твои намерения, застать его врасплох. Это умение самым внимательным образом наблюдать, анализировать. Вторая важнейшая составляющая борцовской схватки – техника, умение выполнить прием или сконтрить из любого положения, четко и точно провести защиту. Поэтому тупому силачу на мате делать нечего. Он проиграет на своем же силовом приеме. У ребят из секции я многому научился и в интеллектуальном плане.

Конечно, первые в своей жизни соревнования – юношеское первенство таллиннского «Калева» после всего лишь четырех месяцев тренировок я проиграл с треском – занял предпоследнее место. Но вот в классе мои позиции изменились самым радикальным образом. После того, как я поймал одного из очередных желающих поиздеваться надо мной на «бедро» и эффектным поворотом швырнул на землю, все такого рода попытки, как ножом отрезало. К выпускному вечеру я подошел, будучи уже достаточно авторитетным в своем выпуске.

К курению же Боря Сюллусте относился на редкость спокойно. На его взгляд, это спорт на нашем уровне не мешало.

К выпускному вечеру мы припасли дополнительное количество красенького. И после того, как были выпиты законные полстакана, стали бегать в гардероб за добавкой. В то время выпивка среди подростков была делом далеко не обычным. Поэтому не трудно представить, как подействовало вино на наши «взрослые» организмы. Но веселья это прибавило. Танцевать я тогда еще не умел, поэтому, «отвалившись от стола с трудом», отправился в комнату отдыха, где стояли привезенные от Феди Гладкова кресла. Устроившись в одном из них, я случайно засунул руку в щель между сиденьем и спинкой. Рука наткнулась на что-то твердое. Я вытащил то, что там лежало. Это был пистолет ТТ с полной обоймой патронов. В те времена офицеры еще не сдавали при уходе со службы домой табельное оружие, не было и требования иметь сейф для его хранения. Поэтому Федин отец прятал пистолет в кресле. Несмотря на винные пары, у нас хватило сообразительности не начать стрельбу боевыми патронами. Но и не воспользоваться попавшим в руки оружием мы тоже не могли. Первым делом мы разрядили обойму, потом вытащили из патронов пули. Опыт такого рода действий у нас был, как я уже писал, с самого младшего школьного возраста. Потом загнали обойму с холостыми патронами в рукоятку и начали пальбу. Не трудно представить, какой переполох поднялся среди учителей и пришедших на вечер родителей-активистов. Их чуть инфаркт всех не хватил. Ведь они ничего не знали ни о нашем милитаристском опыте, ни о сообразительности. Они видели только подвыпивших подростков, стреляющих из настоящего пистолета в потолок. Даже отсутствие дырок от пуль в потолке, чего они, впрочем, не заметили, не уменьшило царившей среди них паники. Но приблизиться к нам они боялись. «Захмелевшие зайцы» расстреляли всю обойму,

наслаждаясь видом растерянных взрослых. Это было нашей мезтью за все неприятности, которые доставляла нам школа. А хороших воспоминаний о школе у меня, к сожалению, сохранилось не так уж много.

Строчка из басни Сергея Михалкова «Заяц во хмелю» вспомнилась мне не случайно. Еще с пятого класса я ходил в драмкружок Таллиннского Дома пионеров. Им руководил актер Русского драмтеатра Петр Моисеевич Любаров. Актер он был, вероятно, не самый выдающийся. Но педагог хороший, а главное, он очень хорошо относился к нам. Первой поставленной им пьесы я почти не запомнил. Помню лишь, что там действующими лицами были карты – валеты, дамы, короли. Был какой-то больной и никогда не улыбающийся принц, которого играл мальчик по фамилии Чижик, ужасно смешливый. Вокруг него крутились доктора. Пьеса была в стихах. Запомнил я две докторские строки: «Смех вызовет икоту и тогда возможна всякая беда!»

А вот после этого Петр Моисеевич взялся с нами за постановку пьесы Виктора Носова «Витя Малеев в школе и дома». Я играл Витю. Премьера «Вити Малеева» состоялась на сцене Русского драмтеатра. Можно себе представить, каким событием это стало для нас, мальчишек и девчонок, допущенных на настоящую сцену.

Сразу после этого в Таллине проходил республиканский конкурс юных чтецов. Любаров посоветовал нам с Севой Левенштейном принять участие. На конкурс делегировали школы. Не знаю, как Сева, но я об этом в своей школе ничего не сказал. Меня просто вызвали к директору и предложили участвовать. До конкурса оставались две недели. Читать надо было басню и одно серьезное стихотворение. Я выбрал «Зайца во хмелю» и «Стихи о советском паспорте» Маяковского. «Зайца» читал и Сева.

В квартире, где жила бабушкина старшая сестра Феня со своей дочерью и зятем-спекулянтom, жила еще одна очень симпатичная пара – Оскар Оттович Линд и Мария Михайлова. Оба они были актерами, как и сын Марии (отчества уже не помню) Александр Михайлов. Оскар Оттович был среднего роста, очень худой, в очках на огромном носу. Те, кто видел фильм «Мистер Икс» с Георгом Отсом в главной роли, видели и Оскара Оттовича в эпизодической роли одного из приближенных мерзавца-барона. Мария Михайлова была профессиональным чтецом. За несколько часов она познакомила меня с азами художественного чтения, объяснила, что такое смысловой акцент, как определять главное слово в стихе, как тембром голоса передавать различные чувства. Ее уроками я и руководствовался, готовясь к конкурсу. Собственно, подготовка заключалась в том, что я раза три прочитал в одиночестве перед зеркалом оба произведения.

Во время конкурса, проходившего в концертном зале «Эстония» - на самой большой и самой почетной в то время, как сказали бы сейчас, концертной площадке, моим основным конкурентом оказался именно Сева Левенштейн, папа которого работал главным диспетчером Таллинского порта. После конкурса и до отъезда Левенштейнов из Таллина нас связывали дружеские отношения. Много лет спустя я услышал знакомый голос по Би-Би-Си. Он вел музыкальные передачи под псевдонимом Сева Новгородцев, а год назад я увидел Севу по телевизору. Он был членом жюри шоу-передачи, где отбирали и обучали пению будущих звезд эстрады.

День конкурса стал днем нашего с Севой триумфа. Он занял первое место, я – второе. Мы опередили всех старшеклассников. Сева не просто читал. Он играл стихотворение. Особенно михалковскую басню. Потом я мог читать ее только с Севиными интонациями. На память об этом дне у меня хранится книга Короленко «История моего современника» с надписью «Лейви Шеру за второе место на республиканском конкурсе художественного чтения». О том, что это был конкурс среди школьников, там ничего не говорится.

Мои занятия борьбой и театральным искусством продолжились осенью. Как и мое весьма прохладное отношение к разгрызанию гранита наук.

Когда я только пришел в 12-ю НСШ, на пустыре за ней стали строить двухэтажное каменное школьное здание, для чего отхватили часть нашей школьной территории. Школу строила железная дорога. Министерство путей сообщения, командовавшее железнодорожным транспортом, как и ведомства ВПК, было в СССР государством в государстве. Оно имело свои клубы, поликлиники, больницы, магазины, детские сады, школы и т.д. Таллин был довольно важным, хотя и тупиковым железнодорожным узлом, во-первых, потому, что был «столицей» Дважды Краснознаменного Балтийского Флота, во-вторых, потому что вокруг города кишмя кишели различные соединения Прибалтийского военного округа, хотя его штаб и располагался в Риге, в-третьих, потому что в 30 километрах, в Палдиски, находился штаб 8-го Военно-морского флота СССР – подводного флота, в четвертых, Таллин был крупным гражданским портом, в-пятых, в Таллине интенсивно создавалась крупная промышленная база различных ведомств ВПК. В это время, например, только шепотом можно было произносить слово «двигатель». Именно так назывался крупнейший в республике завод, на котором, по слухам, работали около 15 тысяч человек. Создан он был в конце XIX века как вагоностроительное предприятие, но в советские времена его продукция ничем не напоминала вагоны. Мне в семидесяте-восьмидесятые годы довелось неоднократно встречаться и разговаривать с директором этого завода Борисом Кузнецовым. Опять-таки по слухам, он имел звание генерал-лейтенанта. Это был чрезвычайно образованный и

интеллигентный человек, доброжелательный, с потрясающей логикой мышления. Предполагаю, что начальник он был достаточно жесткий. Но с кем бы я потом из его бывших соратников не разговаривал, все говорили о нем с огромным уважением и даже любовью. Чего не могу сказать о сменившем его Владимире Яровом, о котором речь еще впереди. На «Двигателе», по слухам, делали реакторы для ядерных подводных лодок, там же делали луноход. Во всяком случае, когда во времена перестройки я как журналист сопровождал в поездке по Эстонии секретаря ЦК КПСС Медведева и попал с ним на это завод, я был потрясен оборудованием его далеко не самого секретного механического цеха. Это были совершенно фантастические по масштабам сверхточные токарные и фрезерные станки, занимавшие весь огромный пролет цеха. Завод тоже имел свои детские сады, ясли, магазины.

1-я железнодорожная средняя школа была ближайшей к моему дому, но мне в нее почему-то не хотелось. Мама понесла мое свидетельство об окончании семилетки в «аристократическую» 19-ю среднюю школу. Она находилась на Тынисмяги, на улице Харидузе. Как ни странно, несмотря на характеристику о критичности моего мышления, меня в эту школу приняли. Что руководило директором школы, кавалером ордена Ленина Серафимой Евдокимовной Евдокимовой, когда она принимала это решение, не знаю, но наверняка она не раз об этом впоследствии пожалела. Вместе со мной в 19-ю поступил и Вальдур. Жора Дрездов перешел в 1-ю железнодорожную. Саша Бибичков на год пропал – его отца куда-то перевели, а потом тоже объявился в 19-й, но отстав на класс.

19-я школа в сталинские времена была женской и оставалась таковой до 1955 года. В ней был только один ученик мужеска пола – мой бывший одноклассник по 24-й НСШ Вовка Глущенко. Он рос редким хулиганом, от которого отказывались все школы. Тогда его мама, Нина Ефимовна Глущенко, преподававшая в 19-й физику в старших классах, упростила взять его в «благодетельную» атмосферу института благородных девиц. Насколько благотворным было это влияние, сказать трудно. Последний раз я встречался с Вовкой, когда он работал официантом в ресторане «Астория», что в подвале Русского драмтеатра. «Астория» в шестидесятые годы была первым и единственным варьете Советского Союза. Попасты в нее было почти что невозможно. Если бы не администратор Анна Абрамовна Перельман, умудрявшаяся найти добрые полдюжины свободных столиков в переполненной зале, я бы с Вовкой не встретился.

Только за год до нашего с Вальдуrom прихода перемешали женскую 19-ю и мужскую 32-ю средние школы. 32-я славилась своими преподавателями математики и английского языка. Очень хорошо там было поставлено и преподавание литературы. А еще эта школа славилась выходками своих

учеников. При том, что там в основном учились дети вполне уважаемых родителей, сорви-голова в 32-й были отменные.

Часть этих сорви-голов оказалась в бывшем женском монастыре. Теперь я понимаю чувства почтенных преподавателей 19-й, когда полетел кувырком весь привычный школьный уклад. Вместо чинно марширующих парами по коридору на переменах белых воротничков и черных повседневных передников по этим самым коридорам с гиканьем носились «отъявленные хулиганы», из переоборудованного на первом этаже под мужской туалета выплывали клубы табачного дыма. Не стало покоя и на уроках. Шушуканье, обмен записками, явное нежелание делать домашние задания – было от чего прийти в уныние учителям. За год - до нашего появления - они в себя окончательно еще прийти не сумели. И пытались управлять школьными делами старыми способами и методами.

Два новичка с довольно приличной успеваемостью были расценены ими как подарок судьбы. Особенно в первые месяцы, пока мы не освоились в новых условиях. Собственно говоря, Вальдур с эстонским спокойным темпераментом особых хлопот не доставлял и потом. Тем более, что избыток энергии он без остатка расходовал на классическую и вольную борьбу – он всегда был очень целеустремлен, знал, что и зачем делает. Меня сразу же за примерное поведение избрали по настоянию завуча Любови Алексеевны Цаплиной в ученический комитет, который служил в советской школе, якобы, институтом самоуправления учащихся, а на деле должен был приучить нас к выполнению полицейских функций и доносительству. При всем том, что я уже тогда был не лишен тщеславия и мне льстило, что меня выделили из общей массы, я, что называется, не проникся и предпочел попытки выделиться из массы другими способами. Спустя весьма недолгое время я уже стоял перед линейкой дежурных за беготню по коридорам на переменах, которая в бывшей женской обители считалась делом позорным и недопустимым. С этого момента начался наш конфликт с Цаплей, завершившийся лишь на выпускном вечере.

Вживание в новый класс – всегда дело не легкое. Да еще в «элитной» школе после того, как семь лет прошли среди «черни». В 8а, в который мы с Вальдуром попали, учились дочка первого заместителя министра финансов Эстонии Мила Коппель, дочка генерал-майора командира дивизии Люда Ерух, дочка академика Лена Душечкина, дочка директора Сакусского пивзавода Лариса Белицкая, дочка контр-адмирала Женя Зензинова и т.д. Зато мужской состав был попроще. 32-я школа, смешиваясь, постаралась отдать соседям не лучшие кадры. Перевели не самых способных и самых непосед. Увалень Боря Рабинович (умерший от инфаркта, не дожив до сорока лет) был патологически не в состоянии произнести хотя бы слово по-английски. Бедная наша Ганна Вульфовна была просто в отчаянии. Старая дева, добрая до безумия, она просто не

могла ставить двойки, а на большее многие из нас не тянули. Удовлетворяющее обе стороны лекарство было с нашим приходом найдено довольно скоро. Как только назревала проверка домашнего задания, кто-нибудь из заднепартников просил Ганну Вульфовну: «Расскажите, пожалуйста, как ваш папа ухаживал за прабабушкой Шера?» Этого было достаточно, чтобы Ганнушка до конца урока пускалась в воспоминания.

Иностранные языки казались нам тогда настолько не нужным и не могущим никогда пригодиться делом, что тратить на них время считалось бессмысленным. Ведь мир был закрыт для нас. Общение с иностранцами, которых в Таллине в то время и не было – город был закрытым, не только не поощрялось, но и решительно пресекалось, об иностранной прессе мы и мечтать не могли, книг на языках потустороннего мира мы тоже не видели. Отсюда и отношение. Я очень благодарен маме, которая все-таки вынудила меня хоть немножко освоить английский, наняв частного репетитора – интеллигентнейшую Елену Михайловну, перед которой я, дурак, ставил перед уроком на стол будильник, чтобы она, не дай Бог, не задержала меня более положенных 45 минут. Но стихи и песни, которые мы с ней учили, я помню до сих пор. И если, уже перевалив за полувековой рубеж, я смог выступать на английском языке с докладами на международных конференциях, общаться с госсекретарем США, дипломатами и учеными из разных стран, то этим я все-таки обязан двум милейшим пожилым дамам – Ганне Вульфовне и Елене Михайловне.

Несмотря на непопулярность своего предмета, Ганнушка остается одной из немногих наших учителей, которых мы непременно поминаем добрым словом на слетах класса, которые проходят до сих пор каждые пять лет.

Но об учителях чуть позже. Вернусь к одноклассникам. Нашими звездами первой величины были трое: Лера (Валерия) Попова, Галя Кузнецова и Леня Макаровский. Все трое окончили школу с медалями. Но судьба у них сложилась очень по-разному. Трагичнее всего у Лени Макаровского. Он одновременно с нашей школой и золотой медалью получил диплом с отличием музыкальной школы по классу скрипки. Леня хорошо рисовал и вообще был талантлив в самых разных областях. Парень он был очень тихий, замкнутый. Мы тогда и представить себе не могли, как он страдал от чудовищных перегрузок, вызванных бешеным тщеславием его родителей, требовавших, чтобы он во всем был первым. Леня был единственным, кто не только по внешнему виду, но и реально был тщедушнее меня. Его физических сил не хватило. После окончания школы он поступил в Таллиннский политехнический институт, но уже со второго курса вынужден был бросить учебу из-за тяжелейшего психического расстройства. Лера окончила вуз, занималась наукой, даже защитила кандидатскую. Галя окончила политехнический, работала многие годы инженером на машзаводе в Пярну, куда вышла замуж. Как ни странно, а,

может быть, и естественно, но наибольших академических успехов добились вовсе представители второго эшелона, к которым я отношу Лену Душечкину, Вальдур Арета, Толю Бейлинсона, Юру Максимова, Стаса Архипова и в какой-то мере себя. Первые двое стали докторами наук: Лена – филологических, Вальдур – технических. Толя, которого после школы черт знает почему потянуло в военное училище, с большим трудом демобилизовался в звании старшего лейтенанта, стал известным в Эстонии экономистом-плановиком, руководил планово-экономическими управлениями нескольких министерств. Стас – очень одаренный математически, к сожалению, очень рано погиб, забыв дома ключи и решившись попасть в квартиру с балкона верхних соседей. Он раскачался на веревке, но не сумел хорошенько зацепиться за перила своего балкона и сорвался вниз с четвертого или пятого этажа. Мою же академическую карьеру загубило слишком хорошее знание математики. Но об этом тоже позже.

Поняв, что в класс пришли два профессора подсказки, мужская часть класса приняла нас безоговорочно. Мы стали широко пользоваться еще и тем, что наши учителя, за исключением Ганнушки, по-эстонски не знали ни бельмеса. Мы с Вальдуром добыли и регулярно пользовались на всех контрольных аналогичными учебниками эстонских школ, которые, не скрывая, клали на парту. На книги на непонятном языке никто из учителей внимания не обращал.

Нет, эстонскому языку нас учили. Правда, факультативно, т.е. добровольно. Но ходили на уроки все – когда были уроки. Наша учительница Ия Оскаровна, понимая отношение своих учеников к изучаемому предмету, не очень себя утруждала. Во всяком случае, я не помню, чтобы мы хоть раз добрались до последнего, четырнадцатого падежа эстонского языка. Нам с Вальдуром на этих уроках точно было делать нечего, поскольку для него этот язык был родным, а я освоил его, что называется, в песочнице. Но мы тоже делали вид, что ходим на эти уроки. Во всяком случае, в восьмом классе. Поскольку с девятого для нас начался период длительных «загулов», когда нас в школе не видели неделями.

Технология прогулов была нами отработана до мелочей. Утром я заходил за Вальдуром, и мы оставляли портфели у него в подвале. Затем мы садились в автобус и ехали до ипподрома, где кончался город. Там мы гуляли на свежем воздухе, пока не замерзали или нам не надоедало. К 10 часам мы были уже возле бани на улице Тульби. Первыми ее посетителями утром были военные моряки. Мы пробирались в теплую баню вместе с ними. Сердобольные мичманы давали нам полотенца и маленькие кусочки мыла. Два часа мы проводили, слушая морские байки и терпя обжигающий пар в парилке. К двенадцати часам, отдраенные и разомлевшие, мы

проходили сотни полторы метров до кинотеатра «Партизан», куда и покупали билеты по два рубля в первые два ряда. К 13.45 заканчивался сеанс. Уроки в школе заканчивались на пятнадцать минут раньше, но ведь нам не надо было топать от школы, а кинотеатр был в пяти минутах ходьбы от дома и ему, и мне. К двум часам дня радостные и довольные мы распахивали двери, переполненные желанием рассказать о событиях минувшего дня в школе. При этом наши рассказы ограничивал только наш еще не в конце утерянный здравый смысл.

Но было в школе такое, что мы пропустить не могли. Это – драмкружок. Драмкружок 19-й и 32-й школ возник еще тогда, когда обучение было раздельным. Руководил им бесценно актер Русского драмтеатра Эстонии Иван Данилович Россомахин - Ивдан. Он не был великим актером, но был замечательным педагогом. Если бы еще не его нетрадиционные сексуальные наклонности, о которых мы вскоре узнали, а некоторые и почувствовали. Это заставляло несколько сторониться его вне занятий кружка. Но тем не менее, атмосфера во время репетиций была атмосферой влюбленности в то, что мы делаем, и авторитет Ивдана был непререкаем. Из нашего класса в кружок – а в него принимали только старшеклассников – пошли Вальдур, я и появившийся вскоре в нашем классе Роберт Галицкий. Его отец – контр- адмирал был до того начальником штаба Черноморского флота. Но на рейде по до сих пор не понятным причинам перевернулся крейсер «Новороссийск», погибли многие сотни моряков, и хотя адмирал Галицкий был в это время в отпуске, его сняли, разжаловали в капитаны первого ранга и отправили служить на Таллиннскую военно-морскую базу.

Этот период был для драмкружка звездным. Нашими примами были Лариса Лузина, сейчас народная артистка России, Виталий Коняев – впоследствии один из ведущих актеров Малого театра в Москве, будущий Человек-Амфибия Владимир Коренев, внешне очень странный, но обаятельный Игорь Ясулович, уже в те годы типичная «комическая старуха» Лиля Малкина, темпераментная красавица Лейли Киракосян, уже после нас в кружок пришла Наташа Сайко.

Учил Ивдан серьезно. Начинали с азов драматического искусства – с постановки речи, с этюдов, Ивдан учил нас понимать суть каждого героя, предоставлял нам возможность дать сначала свою трактовку образа, а затем, потихоньку подправляя и не ущемляя нашего самолюбия, приводил нас к вовсе противоположной. Я помню одну из своих ролей – мальчишки-беспризорника. Мне казалось, что ее надо играть залихватски, что этому парню на все наплевать, что он ни к чему не относится серьезно. Ивдан подвел меня к тому, что я понял, насколько этого маленького человечка тянет к светлому, чистому, насколько ему хочется верить во всеобщую

справедливость. Поворот был совершен, что называется, оверштаг, если не оверкиль.

Поскольку уроками я себя не очень утруждал, то мое проводимое с пользой время делилось между борцовской секцией и драмкружком. Не скажу, чтобы мои успехи в спорте были очень впечатляющими. Во всяком случае, даже четвертое место на юношеском первенстве города не произвело никакого впечатления на нашу учительницу физкультуры. Я числился у нее в самых балбесах, потому что до тошноты не любил брусья, а через коня вообще прыгнул один раз в жизни – уже в армии, во время проверки Генштабом – со страху.

В это время в мою жизнь вошло еще одно – бридж. В то время игра в карты считалась делом позорным. Она ассоциировалась с блатными и «очком». Никакие разговоры о том, что в мире литература по бриджу не уступает по объему шахматной, успеха не имели. Но нескольких своих соучеников из параллельного класса я все-таки этой игре обучил. Для игры мы оборудовали стенной шкаф в торцевой стене их класса, противоположной доске. В дверцах просверлили дырочки для воздуха, провели в шкаф освещение, оборудовали сиденья. На перемене мы забирались в шкаф, после чего задний ряд парт придвигался вплотную к стене, намертво «замуровывая» дверцы шкафа. К сожалению, нам плохо были видны лица учителей, когда посреди урока непонятно откуда доносилось: «Две пики», «Контра», «Три без козыря», «Пас». Наша тайна так и не была раскрыта. Литературу у них вела Ирина Григорьевна Эрбсен (фамилии многих учителей я уже не помню, поскольку они большой роли в нашей жизни не сыграли). Ее уроки были настолько «правильными», что даже от самых замечательных произведений лично мне становилось тошно. Судя по моим партнерам, не только мне. Поэтому с наибольшим удовлетворением мы выбирали для игры именно ее уроки.

Юность жестока. После девятого класса нас отправили на помощь труженикам совхоза имени А.Соммерлинга, центр которого располагался на тринадцатом километре шоссе Таллин – Тарту. Поскольку перспектива полоть свеклу меня не очень привлекала, я вызвался быть возничим. Меня привели в конюшню, где я впервые в жизни должен был приступить к непосредственному общению с лошастью. В стойле стояла непонятной масти кобыла по кличке Ирма, о которой меня забыли предупредить, что это самая злая представительница лошадиного племени в хозяйстве. А когда не знаешь, что надо опасаться, то и не опасаясь. Поэтому все конюхи были поражены мужеством, с которым я вошел в стойло, чтобы попытаться, опять-таки, впервые в жизни, надеть на лошадь уздечку. Как взнудывать, мне рассказали за пять минут до этого. Я взнудал. Более того, вывел Ирму из конюшни и подвел к телеге, где под диктовку старого конюха запряг кобылу. И гордо поехал на телеге за водой.

Пару недель спустя Ирму, с которой я уже успел подружиться, забрали на другую работу, а мне дали рыжую кобылу с большим бельмом на левом глазу и с маленьким жеребенком. Во-первых, эта животина знала только шаг, и ничто не могло заставить ее перейти хотя бы на что-то, напоминающее рысь. Поэтому я никуда не успевал. Во-вторых, из-за бельма она категорически отказывалась поворачивать налево, и для такого поворота приходилось делать почти полный оборот направо. В-третьих, когда я вечером выпряг ее и повел в конюшню, мимо нее к стойлу с правой стороны рванул жеребенок, и любвеобильная мама, чтобы пропустить его в тесном проходе конюшни подалась влево, где был я, которого она видеть левым глазом не могла. В результате шип ее подковы оказался на мизинце моей правой ноги, раздробив кость. На «скорой помощи» меня доставили в Таллинн, в больницу, где мне наложили гипс. На этом мои сельскохозяйственные работы в том году закончились. Но до этого я успел известить надзирающую над нами Ирину Григорьевну. Вечерами нас отвозили домой с поля в крытой автокибитке, двери которой тщательно запирались, чтобы мы не выпали по дороге. Поэтому в кибитке царил почти полный мрак. Его взрывало наше пение. Если по вокальным данным мы почти не отличались от того, что демонстрируют сейчас многие «суперзвезды» эстрады (только пели мы не под «фанеру»), то по содержанию наши песни даже превосходили исполняемые сейчас во всеуслышанье. Нашей любимой песней была «Садко», в которой из каждых десяти слов шесть или семь были матерными. Не то, чтобы нам так нравилось материться, но нам безумно нравилась реакция Ирины Григорьевны, которая, увы, была лишена из-за темноты возможности установить личности певцов, а по голосам нас различить было невозможно, потому что, кроме ща-бемоль, мы других нот не знали. К моменту прибытия в детский сад, где мы базировались, пение заканчивалось. Ирина Григорьевна, мрачнее тучи, удалялась и выходила лишь к ужину. На ужин, как правило, было одно блюдо эстонской национальной кухни – соус из мясного фарша с картошкой. По цвету и консистенции это напоминало что-то совсем не съедобное. Что немедленно констатировалось мной в следующей формулировке: «Опять дизентерийный понос грудного младенца!». Вот этого Ирина Григорьевна уже выдержать не могла – она вскакивала из-за стола и не являлась даже на завтрак. Тогда я своим поведением гордился. Уже через несколько лет я стал его стыдиться. Во-первых, мадам Эрбсен была совсем уж не таким плохим человеком, а во-вторых, все-таки женщиной, и мое поведение имело мало общего с джентльменским. И если я сейчас вспоминаю об этом, то только потому, что из песни слова не выкинешь.

В нашем классе литературу вела очень милая Мария Васильевна Токман. Ей, похоже, самой не нравилось то, что она должна была делать, поэтому про Татьяну, которая «красной нитью...», «типичный образ русской

женщины...», она рассказывала без всякого воодушевления. И для меня, чьей первой книгой в жизни был «Евгений Онегин», пленивший меня в четырехлетнем возрасте музыкой стиха и, вероятно, приведший меня, в конечном счете, на отделение русского языка и литературы Тартуского университета, это было и понятно, и мучительно.

Физику нам в восьмом классе преподавала некая Лариса Пятровна. На самом деле, она была, конечно, Петровна, но говорила «якая». С русскому языку у нее было совсем плохо. Навек запомнилась нам ее коронная фраза на контрольной: «Кто не успел списать условие задачи, смотри в зад к соседу!». Другая ее фраза звучала так: «Бярем пяпетку и капаем из нее капля` за каплём».

После нее нас обучала физике Нина Ефимовна Глущенко – мать уже упоминавшихся моих бывших одноклассников по 24-й школе – Вовки и Витьки. Оба они к тому времени, несмотря на обязательное всеобщее среднее образование, курс обучения уже закончили, так и не дотянув до обязательного и всеобщего. Нина Ефимовна вела уроки очень толково. И если я могу сейчас провести проводку, найти неисправность в электросистеме автомобиля, починить даже современный утюг, рассчитать необходимую длину рычага и прочее, то этим я обязан именно ей. Хотя талантливым ее учеником я не был. На выпускном экзамене по физике я довел Нину Ефимовну чуть не до обморока. Среди экзаменационных билетов были два схожих: токи в газах и токи в разреженных газах. Мне достались токи в разреженных газах. Но когда я читал вопросы билета, то Нина Ефимовна недослышала, и, по ее мнению, я начал отвечать совершенно не то. Она от волнения аж выбежала из класса, где проходил экзамен, и сообщила стоящим за дверью, что я проваливаюсь. Мне это было тотчас же передано следующим вошедшим. Я был в полном недоумении, ибо всего несколько минут назад своими словами переписал соответствующий параграф учебника, законспектированный на шпаргалке. В конце концов, недоразумение разъяснилось, но пятерки я не получил. Нина поставила четверку, чтобы такие, как я не доводили ее чуть ли не до обморока.

Но особенно легко мне стало, когда я после окончания школы поступил на математическое отделение естественно-математического факультета Тартуского университета. Первое, что нас попросил преподававший высшую алгебру профессор Кангро, это забыть все, что мы учили в школе. Мне это далось особенно легко, потому что из школьной математики я помнил очень не многое. Математику у нас в школе вела Анна Аркадьевна – маленькая даже по моим тогдашним меркам – а во мне было росту чуть более полутора метров – женщина, затурканная пьющим мужем. В конце концов, она не выдержала и повесилась. Это случилось на следующий год после окончания нами школы. Как человека, мы ее очень жалели, но

знания математики это не прибавляло. Перед вступительными экзаменами в университет мне пришлось наверстывать упущенное, присутствуя на уроках, которые давал в качестве репетитора нескольким поступавшим в сельхозакадемию парням Яков Абрамович Габович – муж моей тетки Дины. За два месяца я понял в математике больше, чем за десять лет в школе.

Особняком для меня стояли уроки истории. По иронии судьбы, они по расписанию начинали учебный день три или четыре раза в неделю. Мне очень редко удавалось прийти на них вовремя – я либо опаздывал на несколько минут, либо, если опоздание было уже чрезмерным, проводил время в комсомольской комнате, ключи от которой были у нас с Вальдуром. Она находилась на четвертом этаже, рядом с нашим классом. У этого места обитания было то преимущество, что если в замочной скважине раздавался скрип другого ключа, можно было вылезть в окно и перепрыгнуть на крышу второй, трехэтажной части школьного здания, имевшего форму буквы «Г». О том, что можно и недопрыгнуть, мы как-то не задумывались.

Екатерина Васильевна, которую мои опоздания, по вполне понятным причинам, безумно раздражали, стала, не давая даже положить портфель, заставлять меня отвечать заданное на дом. Первое время я не мог приспособиться к ее тактике и беспомощно плавал. Но противоядие нашлось быстро. Маме, которую направляли в свое время учиться в вечерний университет марксизма-ленинизма, пришлось приобрести «Историю ВКП(б)», к которой приложил руку сам Иосиф Виссарионович. И хотя сталинские времена уже прошли, а культ личности был развенчан, в идеологии ничего не изменилось.

XX съезд КПСС в 1956 году для большинства моих сверстников грянул громом с ясного неба. Я к случившемуся был более или менее подготовлен, благодаря рассказам Макса. И все равно, масштабы творившегося ужасали. Хотя доклад Хрущева читали только на закрытых партсобраниях, содержание его дошло до нас очень быстро. Разумеется, мы не могли тогда понять, что отнюдь не демократическими убеждениями была продиктована хрущевская откровенность, что ему просто надо было разрушить пьедестал предшественника, чтобы с полным блеском вскарабкаться на него самому. Но объективно, он разрушил не только пьедестал, он убил царивший в нас страх не только сказать, но и подумать. За что вполне заслуживает памятника Эрнста Неизвестного. Именно он породил первых диссидентов, многие из которых о демократических ценностях и понятия не имели.

Почти весь Союз при Сталине ходил в форме. Ее носили военные и милиция, железнодорожники и прокуроры, своя униформа была у партийных работников. Обязательной была и школьная форма. Девочки носили коричневые или темно-синие платья с черным передником и

белым кружевным воротничком по будням, а по праздникам передник заменялся на белый. Мальчишкам форму ввели позже, взяв за образец гимназическое одеяние царских времен. Мышиного цвета гимнастерки и брюки были настолько не сочетаемы с традициями эстонцев, что прибалтам и здесь сделали исключение – разрешили ношение формы в виде костюмов темно-синего цвета с серо-зелеными рубашками и галстуками. Разумеется, для девочек категорически исключались маникюр, перманенты и прочее. Как и длинные волосы у ребят.

Демократическое дуновение XX съезда в первую очередь сказалось на нашем внешнем облике. Толщина гривы на затылке измерялась линейкой. Сейчас трудно представить, что моя шевелюра сзади была толщиной в восемь сантиметров. Впереди должен был быть кок. К моему огорчению, мои мягкие волосы никак не желали стоять дыбом надо лбом. И я ужасно завидовал Жорке Дрездову, обладателю классического белокурого кока. Одновременно мы приводили в соответствие с новыми веяниями нижнюю часть тела. Если раньше высшим шиком считались морские клеши, из-под которых не было видно обуви (правда, их носила в основном пролетарская молодежь), то теперь мы сами взялись за иголки с нитками и зауживали брюки внизу до того, что нога пролезала в штанину только с мылом. К брюкам, которые должны были быть голубыми, полагались носки в пеструю поперечную полоску. И венцом всего этого великолепия были паты или «говнодавы» - туфли на толстой рифленой подошве из каучука. Правда, стоила такая экипировка довольно дорого, и я мог только мечтать о «говнодавах». В таком виде мы уже школьниками начали фланировать по улице Виру. За вечер мы проходили десятки раз туда и обратно от «утюга» Мусюмяги (Поцелуйкиной горки) до Ратуши. Во время проходов завязывался флирт, со встреченными знакомыми обсуждались все новости, а порой проходили и выяснения отношений между конкурирующими группировками. Иногда власти направляли на Виру комсомольские патрули, которые бритвами разрезали брюки-дудочки или пытались выстричь парикмахерскими машинками клок волос. На первых порах мы робели и становились их жертвами, но вскоре стали давать такой отпор, что у лихой братвы с коплиских заводов пропала охота с нами связываться.

Все это явление называлось словом «стиляги». И это было первой попыткой молодых людей выйти из шеренг в униформе, заявив о себе, как личности.

Власть вскоре поняла, насколько это опасно, и обрушила на стилиг всю мощь своей пропагандистской машины. Я запомнил парафраз на песню «Два сольди», который звучал в эфире:

«Эту песенку с эстрады спел Романов,
Стала песня охмуряющим дурманом,

Остиляжили ее и дико воют,
Превращая песню в бешенный фокстрот.

Стиляг немало есть у нас,
Их можно встретить каждый час
В аудиториях, на танцах и в кино.
Разодеты они, словно попугаи,
Перья в шляпах дикарей напоминают,
Брюки дудочкой и толстая подошва,
И болтается пальто, как балахон.

Грош цена им на нормальных не похожим,
Грош цена им изумляющим прохожих,
Грош цена им – медный грош, а не два сольди.
И если есть у них душа – она не стоит ни гроша,
И нужно выбросить в утиль
Их никому не нужный стиль.

Мы Романова все любим уважаем,
И его искусство обожаем,
Хулиганов и стилияг мы порицаем
Острой критикой своей.

Все на том же, на романовском мотиве
Скажем мы, что в нашем дружном коллективе
для таких, как вы, сегодня спели песню,
И вам места в нашем коллективе нет!»

Увы, эта заря диссидентства расцвела махровым цветом, и именно стилияги породили поколение шестидесятников.

Но вернусь к школе. История СССР, которую мы тогда усердно изучали, была несколько адаптированным переложением упомянутого выше труда вождя. Я и решил ввести в бой первоисточник. Он научил меня главному: умению идеологически правильно трактовать даже то, чего не знаешь. После моих ответов Екатерине Васильевне оставалось либо входить в конфликт с линией партии, либо ставить мне хорошие оценки. На первое она так и не решилась. Историю я в школе так и познал, и заполнил этот пробел великий Юрий Михайлович Лотман, отнюдь не историк, а литературовед. Но история литературы в его изложении – это была и история человеческой цивилизации, и история российского общества, и история общественной мысли. Это он сформировал у нас убеждение, что история человечества заключается не в царях и войнах, состоит не из побед, большей частью сфальсифицированных или тщательно отобранных, не в боевой славе и тысячах уничтоженных жизней

противников, а в творчестве человеческого гения, в созидании непреходящих ценностей, в познании и использовании законов природы. И еще: нет отдельно истории США или Англии, нет отдельно истории России или Эстонии – это все суть части нашей всеобщей истории, которые могут быть поняты только в общем контексте истории человечества и мироздания. Поэтому когда я сейчас слышу исходящие с самых разных сторон призывы к восстановлению боевой славы, когда главным достижением нации считаются ее завоевания и военные победы, для меня это звучит атавизмом средневековья, отзвуком психологии творческой импотенции.

Выпускное сочинение по литературе стало моим первым (и последним) литературным шедевром. Я писал о «Поднятой целине» Шолохова, которую не любил всеми фибрами своей души. Несчастный Кондрат Майданников никогда и в мыслях не имел ничего такого, что я про него понаписывал. А уж Владимир Ильич Ленин точно никогда не писал той фразы, которую я поставил в качестве эпитафии к своему сочинению. Я просто был уверен, что никто из экзаменаторов никогда не полезет в 37-й том собрания сочинений светоча человечества, чтобы проверить, что же он такое умное и так к месту там увековечил. Честно говоря, каким был этот эпитафия я уже не помню, но точно знаю, что эта «цитата» из Ленина в истории человечества встречается только один раз – в моем сочинении.

Идеологическая выдержанность моего творения у экзаменаторов сомнений не вызвала. Зато у членов комиссии возникли претензии к моей самой сильной, как я считал, стороне – грамотности. В сочинении они насчитали тринадцать лишних, с их точки зрения, запятых. Это означало провал на экзамене, которого образцово-показательная школа допустить не могла. Меня разыскали на пляже в Пирита, где я наслаждался июньским солнцем. Я примчался в школу, где мне показали испещренное красным сочинение. И я ринулся в бой, понимая, что если мне удастся хоть как-то аргументировать написанное, мои аргументы будут приняты – не из-за меня, а исходя из интересов школы. Развернулась бурная полемика о понятиях «авторского знака препинания», «смыслового знака препинания» и пр. Я, завывая, читал написанный мной текст, доказывая, что запятые поставлены для обозначения интонации. Не без успеха. Педсовет утвердил оценку моего сочинения «хорошо».

Честно говоря, мы не особенно волновались за результаты выпускных экзаменов. К тому времени нашего социального сознания уже вполне хватало на то, чтобы понять, что провал на экзамене – это неудовлетворительная оценка не ученику, а учителю. А кому же из учителей захочется получить «неуд»? Еще меньше этого хотелось директору школы. Ведь школы ранжировались районными и городским отделом народного образования, а далее министерством просвещения по

проценту успеваемости. И поэтому наиболее принципиальные учителя всегда оказывались изгоями в собственном педагогическом коллективе. В конце шестидесятых годов, когда я проходил педагогическую практику в «аристократической» 21-й средней школе Таллина, со свойственной неопытному практиканту резвостью я понаставил двоек, в том числе и детям высокопоставленных партийных боссов. Они не просто были ни бум-бум в русском языке и русской литературе, но еще и имели наглость списывать, когда я, считавший себя «профессором подсказки и списывания», проводил контрольную. Я был оскорблен до глубины души не самим фактом списывания, а той примитивностью, с которой они пытались это сделать. Это был четвертый из положенных мне для отбытия 20 дней практики. На следующий день меня пригласили к директору, который спросил, буду ли я удовлетворен «четверкой» за эту самую практику? Разумеется, я возражать не стал. Тогда он убедительно попросил меня с завтрашнего дня в школу не являться...

...Еще через пару недель мы самозабвенно танцевали на выпускном вечере, потом до утра гуляли по городу и парку КадрIORг. Под утро мы с Вальдуром вышли к морю неподалеку от памятника броненосцу «Русалка», сели на камни под парашютом набережной, и стали философствовать о дальнейшей жизни. Размышлять было над чем. В основном мне. У Вальдура – к тому времени мастера спорта СССР, чемпиона Советского Союза среди перворазрядников (проводился однажды такой чемпионат) сомнений не было – он поступал в Политехнический. Я же решил - в Тарту! Хотя я был не очень силен в математике и не мог сравниться с нашими классными математическими «гениями» Юрой Максимовым и Стасом Архиповым, меня тянуло поступить на математику. Главным образом потому, что на втором курсе математического учился мой двоюродный брат Женя Габович. Как показала дальнейшая жизнь, это была очень полезная ошибка.